# Обезьяна и сущность

# Олдос Хаксли

# Перевод И. Г. Русецкого

## I

## Тэллис

В этот день был убит Ганди, однако на холме Кэлвери гуляющих гораздо больше занимало содержимое корзин со съестным, нежели значение в общем-то заурядного события, свидетелями которого они оказались. Что бы ни утверждали астрономы, Птолемей был совершенно прав: центр Вселенной находится здесь, а не где-то там. Пусть Ганди мертв, но и за письменным столом у себя в кабинете, и за столиком в студийном кафе Боб Бриггз умел говорить только о себе.

— Ты всегда мне помогал, — заверил меня Боб, приготовившись не без удовольствия поведать очередную главу своей биографии.

В сущности, я прекрасно знал — а сам Боб и подавно, — что на самом-то деле никакая помощь ему не нужна. Он любил попадать в переплет; более того, любил поплакаться о своих затруднениях. Как сами неприятности, так и несколько драматизированное их изложение позволяли ему почувствовать себя всеми поэтами-романтиками, вместе взятыми: покончившим с собой Беддоузом, состоявшим во внебрачной связи Байроном, Китсом, зачахшим из-за Фанни Брон, Гарриет, погибшей из-за Шелли. А чувствуя себя всеми поэтами-романтиками сразу, Боб мог хотя бы ненадолго позабыть о двух главных причинах своих невзгод: о том, что он был начисто лишен их таланта и — почти начисто — их сексуальности.

— Мы дошли до точки, — сказал Боб (трагизм, с которым он произнес эти слова, навел меня на мысль, что актер из него вышел бы гораздо более сильный, чем киносценарист), — мы с Элейн дошли до точки и почувствовали себя, словно... словно Мартин Лютер.

— Мартин Лютер? — с некоторым удивлением переспросил я.

— Знаешь: ich kann nicht anders[[1]](#footnote-1). Мы не могли, просто не могли ничего больше сделать, кроме как отправиться в Акапулько.

А Ганди, подумал я, не оставалось ничего, кроме как пассивно противиться угнетению, отправиться в тюрьму и в конце концов дать себя застрелить.

— Итак, мы сели в самолет и улетели в Акапулько, — продолжал Боб.

— Наконец-то!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Но ты ведь уже давненько об этом подумывал, верно?

Боб недовольно поморщился. Мне же вспомнились все наши предыдущие разговоры на эту тему. Следует ли ему сделать Элейн своей любовницей или нет? (Он ставил вопрос в этакой очаровательной старомодной манере.) Следует ему просить у Мириам развода или нет?

Речь шла о разводе с женщиной, которая до сих пор в самом прямом смысле оставалась для него тем, чем была всегда — его единственной любовью; однако в другом, но тоже не менее прямом смысле его единственной любовью была Элейн; причем она стала бы таковой в еще большей степени, решись он наконец (а именно поэтому он и не мог решиться) «сделать ее своей любовницей». Быть или не быть — этот монолог длился уже почти два года и затянулся бы еще лет на десять, будь у Боба возможность гнуть свою линию и дальше. Боб любил, чтобы его затяжные и по преимуществу мнимые неприятности не приобретали нестерпимо плотского оттенка, который мог подвергнуть его сомнительную мужественность очередному унизительному испытанию. Хотя Элейн и находилась под впечатлением красноречия своего поклонника, а также его барочного профиля и ранней седины, ее, по-видимому, все же утомили эти нескончаемые, но исключительно платонические неприятности. Бобу был поставлен ультиматум: или Акапулько, или полный разрыв.

Словом, он был осужден на нарушение супружеской верности так же бесповоротно, как Ганди на пассивность, тюрьму и смерть, но, судя по всему, опасения Боба были глубже, сильнее и в ходе событий вполне подтвердились. Хотя бедолага Боб и не рассказал мне о том, что произошло в Акапулько, однако история получилась явно трогательная и нелепая — об этом красноречиво свидетельствовало то обстоятельство, что Элейн, по словам Боба, «ведет себя странно» и ее уже несколько раз видели в обществе омерзительного молдавского боярина, имя которого я, к счастью, позабыл. Мириам же не ограничилась тем, что не дала Бобу развода: воспользовавшись отсутствием супруга, а также его доверенностью, она перевела на свое имя ранчо, два автомобиля, четыре многоквартирных дома, несколько весьма выгодно расположенных участков земли в Палм-Спрингсе, равно как и все его сбережения. А он между тем задолжал правительству тридцать три тысячи долларов подоходного налога. Однако когда Боб попросил у продюсера обещанные двести пятьдесят долларов прибавки к недельному жалованью, последовало долгое, полное скрытого смысла молчание.

— Ну так как же, Лу?

Внушительно цедя слова, Лу Лаблин ответил:

— Боб, сегодня, в этой студии, прибавки не получил бы даже Иисус Христос.

Сказано это было вполне дружеским тоном, но, когда Боб попытался настаивать, Лу треснул кулаком по столу и заявил, что тот ведет себя не по-американски. Это решило дело.

Боб продолжал рассказывать. Какой сюжет для большого религиозного полотна! — подумал я. Христос выпрашивает у Лаблина жалкую прибавку в двести пятьдесят долларов в неделю и получает решительный отказ. Это была бы одна из излюбленных тем Рембрандта: на ее основе он создал бы десятки рисунков, офортов и полотен. Иисус печально удаляется во мрак неуплаченного подоходного налога, а в золотом луче прожектора, сияя драгоценными каменьями и металлическими бликами, Лу в громадном тюрбане торжествующе усмехается тому, как он обошелся с Мужем Скорбей.

Потом я представил себе, как трактовал бы этот сюжет Брейгель. Большая панорама студии: полным ходом идут съемки мюзикла стоимостью в три миллиона долларов, в котором точно воспроизводятся все мельчайшие детали; две-три тысячи превосходно загримированных актеров; а в нижнем правом углу зритель после долгих поисков обнаруживает наконец Лаблина величиной с кузнечика, глумящегося над еще более тщедушным Иисусом.

— Но у меня была совершенно потрясающая идея сценария, — говорил Боб с тем жизнерадостным воодушевлением, которое для отчаявшегося человека служит альтернативой самоубийству. — Мой агент в восторге: считает, что я смогу продать ее за пятьдесят-шестьдесят тысяч.

И он начал рассказывать.

Все еще размышляя о Христе, стоящем перед Лаблином, я вообразил, как это написал бы Пьеро: блистательно выверенная композиция, равновесие пустот и тел, гармоничных и контрастных тонов, все фигуры пребывают в несокрушимом покое. На головах у Лу и его ассистентов должны быть головные уборы фараонов в виде громадных перевернутых конусов из белого или цветного фетра, которые в мире Пьеро подчеркивают два обстоятельства — четкую геометрическую природу человеческого тела и причудливость жителей Востока. Несмотря на шелковистую легкость, складки каждого одеяния неизбежны и определенны, словно вырезанные из порфира силлогизмы, а все полотно пронизано присутствием платоновского божества, которое с помощью математики навсегда превращает хаос в упорядоченность и красоту искусства.

Однако от Парфенона и «Тимея» формальная логика приводит к тирании, которая в «Государстве» провозглашена идеальной формой правления. В политике эквивалент теоремы — это армия с безукоризненной дисциплиной, а эквивалент сонета или картины — полицейское государство, находящееся под властью диктатуры. Марксист называет себя «научным», а фашист к этому определению добавляет еще одно: он поэт — научный поэт — новой мифологии. Претензии того и другого вполне оправданны: и тот, и другой в реальной жизни прибегают к приемам, доказавшим свою эффективность в лаборатории или башне из слоновой кости. Они упрощают, отделяют и исключают все, что неприменимо для их целей, и готовы пренебречь чем угодно как несущественным; они навязывают свои способы и подтасовывают факты, чтобы доказывать свои излюбленные гипотезы; они отправляют в мусорную корзину все, чему, по их мнению, недостает совершенства. А поскольку они действуют как подлинные мастера своего дела, как серьезные мыслители и опытные экспериментаторы, тюрьмы переполнены, политические еретики гибнут на каторге, права и желания простых людей попираются, Ганди погибают насильственной смертью, а миллионы школьных учителей и радиодикторов от восхода до заката твердят о непогрешимости сильных мира сего, которые в данную минуту оказались у власти.

— И в конце концов, — продолжал Боб, — я не вижу причин, почему кино не должно быть произведением искусства. Этот проклятый торгашеский дух...

Он говорил с праведным негодованием посредственного художника, который обрушивается на козла отпущения, выбранного им, чтобы иметь, на кого свалить плачевные последствия собственной бесталанности.

— Как ты думаешь, Ганди интересовался искусством? — спросил я.

— Ганди? Разумеется, нет.

— Пожалуй, ты прав, — согласился я. — Ни искусством, ни наукой. Потому-то мы его и убили.

— Мы?

— Да, мы. Умные, деятельные, вперед смотрящие почитатели порядка и совершенства. А Ганди был просто реакционер, веривший лишь в людей. В маленьких, убогих людишек, которые сами управляют собою в своих деревушках и поклоняются брахману, являющемуся также и атманом. Такого терпеть было нельзя. Неудивительно, что мы его укокошили.

Я говорил и одновременно размышлял, что это еще не все. Еще была непоследовательность, почти измена. Человек, который верил лишь в людей, дал втянуть себя в массовое нечеловеческое безумие национализма, в якобы сверхчеловеческое, а на самом деле дьявольское стремление учредить народное государство. Он дал втянуть себя во все это, воображая, что ему удастся унять безумие и все, что есть в государстве сатанинского, превратить в некое подобие человеческого. Однако национализм и политика силы оказались ему не по зубам. Святой может исцелить наше безумие не из середки, не изнутри, а только снаружи, находясь вне нас. Если он станет деталью машины, одержимой коллективным сумасшествием, случится одно из двух. Он либо останется самим собой, и тогда машина будет какое-то время его использовать, а потом, когда он сделается бесполезен, выбросит или уничтожит. В противном случае он будет переделан по образу и подобию механизма, с которым и против которого работает, и тогда мы увидим, что святая инквизиция в союзе с каким-нибудь тираном готовит торжество привилегий церкви.

— Так вот, возвращаясь к их торгашескому духу, — проговорил Боб. — Позволь привести тебе пример...

Но я думал о том, что мечта о порядке порождает тиранию, мечта о красоте — чудовищ и насилие. Недаром Афина, покровительница искусств, является также богиней военных наук, божественной начальницей любого генерального штаба. Мы убили Ганди, потому что после короткой (и смертельной) политической игры он отказался от нашей мечты о народном порядке, о социальной и экономической красоте; потому что он попытался напомнить нам о конкретном и всеобъемлющем факте существования реальных людей и внутреннего Света.

Заголовки, которые я видел этим утром в газетах, были иносказательны, они содержали не только сам факт, но и аллегорию и пророчество. Этим символичным актом мы, так стремящиеся к миру, отвергли единственное средство его достижения и предостерегли всех, кому случится в будущем отстаивать иные пути, нежели те, что неизбежно ведут к войне.

— Ладно, если ты допил кофе, то пошли, — сказал Боб.

Мы встали и выбрались на солнце. Боб взял меня за руку и пожал ее.

— Ты очень мне помог, — снова заверил он.

— Хотелось бы надеяться, Боб.

— Но ведь так оно и есть, так и есть.

Быть может, оно действительно так и было: выплеснув свои неприятности перед благожелательным слушателем, он почувствовал себя лучше, как-то приблизился к поэтам-романтикам.

Несколько минут мы молча шли мимо проекционных и домиков администраторов в стиле Чурригеры. На дверях самого большого из них висела внушительная бронзовая табличка с надписью «Лу Лаблин».

— Как насчет прибавки? — поинтересовался я. — Может, зайдем, попробуем еще разок?

Боб скорбно усмехнулся, и снова наступило молчание. Когда он наконец заговорил, голос его звучал задумчиво:

— Бедный старина Ганди! Мне кажется, самым большим его секретом было умение ничего не желать для себя.

— Да, пожалуй, это один из его секретов.

— Боже, как хочется иметь поменьше желаний!

— Мне тоже, — с жаром согласился я.

— Ведь когда наконец получаешь желаемое, всегда оказывается, что это вовсе не то, о чем ты мечтал.

Боб вздохнул и опять замолк. Он явно размышлял об Акапулько, об ужасной необходимости перейти от затяжного к неминуемому, от смутного и показного к слишком уж конкретно плотскому.

Миновав улицу с административными домиками, мы пересекли стоянку для машин и углубились в ущелье между высоченными звуковыми павильонами. Мимо проехал трактор с низким прицепом, на котором стояла нижняя половина западной двери итальянского собора XIII века.

— Это для «Екатерины Сиенской».

— А что это?

— Новый фильм Гедды Бодди. Два года назад я сделал сценарий. Потом его передали Стрейгеру. А после его переписала команда О'Тула — Менендеса — Богуславского. Мерзость!

Мимо прогрохотал еще один прицеп с верхней половиной соборной двери и кафедрой работы Никколо Пизано.

— Если вдуматься, она в некотором смысле очень похожа на Ганди, — проговорил я.

— Кто? Гедда?

— Нет, Екатерина.

— А, понимаю. Я думал, ты говоришь про набедренную повязку.

— Я говорю о святых в политике, — пояснил я. — С нею, конечно, не расправились, но лишь потому, что она рано умерла. Последствия ее политики просто не успели проявиться. У тебя было все это в сценарии?

Боб покачал головой:

— Слишком грустно. Публика любит, чтобы звездам сопутствовала удача. И потом, разве можно говорить о церковной политике? Получится нечто явно антикатолическое, что может легко превратиться в антиамериканское. Нет, мы не рискуем, а сосредоточиваемся на парне, которому она диктует свои письма. Он без памяти влюблен, но все это очень возвышенно и духовно, а когда она умирает, он уединяется и молится перед ее портретом. Там есть еще другой парень, который на самом деле за ней ухаживал. Она упоминет об этом в письмах. Играется это так, как того заслуживает. Они все еще надеются заполучить Хамфри...

Громкий гудок заставил Боба подпрыгнуть.

— Осторожно!

Боб схватил меня за руку и дернул назад. Из двора позади сценарного отдела на дорогу вылетел двухтонный грузовик.

— Смотреть надо, куда прете! — проезжая мимо нас, заорал водитель.

— Идиот! — огрызнулся Боб и обратился ко мне: — Видел, что он везет? Сценарии. — Он покачал головой. — Их сожгут. Чего они и заслуживают. Литературы тут на миллион долларов.

Он рассмеялся с мелодраматической горечью.

Проехав ярдов двадцать, грузовик резко свернул вправо. По-видимому, скорость была слишком высока: под действием центробежной силы с полдюжины лежавших сверху сценариев высыпалось на дорогу. Словно пленники инквизиции, чудом спасшиеся от костра, подумал я.

— Парень не умеет водить, — проворчал Боб. — В один прекрасный день кого-нибудь задавит.

— Давай-ка посмотрим, кому удалось спастись.

Я поднял ближайший том.

— «Девушка не уступит мужчине», сценарий Альбертины Кребс.

Боб припомнил сценарий. Гадость.

— А что ты скажешь об «Аманде»? — Я перелистал несколько страниц. — Похоже, мюзикл. Стихи какие-то:

Амелия хочет есть,

Но Аманда хочет мужчину...

— Не надо! — не дал мне закончить Боб. — Он стоил четыре с половиной миллиона в период битвы за повышение курса доллара.

Я бросил «Аманду» и поднял еще один раскрывшийся том. Мне бросилось в глаза, что переплет у него зеленый, а не обычный для студии темно-красный.

— «Обезьяна и сущность», — прочел я вслух сделанную от руки надпись на обложке.

— «Обезьяна и сущность»? — несколько удивленно переспросил Боб.

Я перевернул форзац.

— «Новый киносценарий Уильяма Тэллиса, ранчо Коттонвуд, Мурсия, Калифорния». А здесь карандашная приписка: «Уведомление об отклонении послано двадцать шестого ноября сорок седьмого года. Конверт с обратным адресом отсутствует. Сжечь». Последнее слово подчеркнуто дважды.

— Такое добро они получают тысячами, — пояснил Боб.

Я принялся листать сценарий.

— Снова стихи.

— О Господи! — с отвращением воскликнул Боб.

Я начал читать:

Но это ж ясно.

Это знает каждый школьник.

Цель обезьяной выбрана, лишь средства — человеком.

Кормилец Papio[[2]](#footnote-2) и бабуинский содержанец,

Несется к нам на все готовый разум.

Он здесь, воняя философией, тиранам славословит;

Здесь, Пруссии клеврет, с общедоступной «Историей»

Гегеля под мышкой,

Здесь, с медициной вместе, готов ввести гормоны

половые от Обезьяньего Царя.

Он здесь, с риторикою вместе: слагает вирши он,

она их следом пишет;

Здесь, с математикою вместе, готов направить все

свои ракеты

На дом сиротский, что за океаном;

Он здесь — уже нацелился, и фимиам курит

благочестиво,

И ждет, что Богородица скомандует: «Огонь!»

Я умолк. Мы с Бобом вопросительно переглянулись.

— Что ты об этом думаешь? — поинтересовался он в конце концов.

Я пожал плечами. Я действительно не знал, что думать.

— Во всяком случае, не выбрасывай, — попросил Боб. — Хочу просмотреть остальное.

Мы двинулись в путь, еще раз завернули за угол и оказались у францисканского монастыря, окруженного пальмами; это и было здание, где размещались сценаристы.

— Тэллис, — пробормотал Боб, когда мы вошли. — Уильям Тэллис... — Он покачал головой. — Никогда о нем не слышал. Кстати, Мурсия — это где?

В следующее воскресенье мы уже знали ответ — не теоретически, из карты, а практически: мы отправились туда на «Бьюике» Боба (точнее, Мириам) со скоростью восемьдесят миль в час. Мурсия, штат Калифорния, представляла собой две красные заправочные колонки и крошечную бакалейную лавчонку на юго-западной оконечности пустыни Мохаве.

Долгая засуха кончилась два дня назад. Небо было все еще затянуто тучами, с запада устойчиво дул холодный ветер. Под шапкой сероватых облаков горы Сан-Габриэль казались призрачными и белели свежевыпавшим снегом. Однако далеко в пустыне, на севере, сверкала длинная узкая полоса золотого солнца. Вокруг преобладали темно-серые и серебряные, а также бледно-золотые и желтовато-коричневые цвета пустынной растительности — полыни, чертополоха и гречихи; кое-где виднелись раскорячившиеся юкки — у одних стволы были гладкими, у других покрыты высохшими колючками, а концы их изломанных ветвей украшали гроздья шипов зеленоватого металлического оттенка.

Глухой старик, которому нам пришлось кричать в ухо, в конце концов понял, о чем мы его спрашиваем. Ранчо Коттонвуд? Еще бы не знать! Нужно проехать примерно милю на юг по этой грязной дороге, потом повернуть на восток, проехать еще три четверти мили вдоль оросительной канавы — и все. Старик собрался было сообщить нам еще какие-то подробности, но Бобу стало невтерпеж. Он выжал сцепление, и мы уехали.

Вдоль канавы росли посаженные человеческой рукой ивы и тополя, пытавшиеся среди этой суровой пустынной растительности жить другой, более легкой и приятной жизнью. Сейчас они были безлисты — скелеты деревьев, белеющие на фоне неба, но мне ясно виделось, какой сочной будет через три месяца зелень их молодых листьев в лучах палящего солнца.

Слишком быстро ехавшую машину неожиданно тряхнуло на выбоине. Боб чертыхнулся.

— Не понимаю, как нормальный человек мог поселиться в конце такой дороги.

— Вероятно, он просто ездит медленнее, — осмелился предположить я.

Боб не удостоил меня даже взглядом. Машина продолжала грохотать на той же скорости. Я попытался сосредоточиться на пейзаже.

Тем временем пустыня бесшумно, но необычайно стремительно преобразилась. Тучи разогнало, и солнце освещало теперь ближайшие к нам обрывистые и иззубренные холмы, которые неизвестно почему вздымались среди бескрайней равнины, словно острова. Еще минуту назад они были черны и мертвы. Теперь — внезапно ожили; перед ними еще лежала тень, за ними клубилась тьма. Они словно светились сами по себе.

Я тронул Боба за руку и указал на холмы:

— Теперь понимаешь, почему Тэллис поселился в конце этой дороги?

Боб быстро посмотрел в сторону, объехал упавшую юкку, еще раз на долю секунды задержал взгляд на пустыне и снова перевел глаза на дорогу.

— Это напоминает мне одну гравюру Гойи — ты знаешь, о чем я говорю. Женщина едет верхом на жеребце, а тот, повернув голову и захватив зубами край ее платья, старается стащить всадницу с седла или разорвать ее одежду. Она смеется, радуется как сумасшедшая. А на заднем плане — равнина с такими же, как здесь, торчащими холмами. Но если к холмам Гойи присмотреться, то видишь, что это вовсе не холмы, а припавшие к земле животные — наполовину крысы, наполовину ящерицы величиною с гору. Я купил Элейн репродукцию этой гравюры.

Снова наступило молчание, и я подумал, что Элейн не поняла намека. Она позволила жеребцу стащить себя на землю и лежала, безудержно хохоча, а крупные зубы уже рвали ее корсаж, в клочья раздирали юбку, пощипывали нежную кожу; это было страшно и восхитительно — трепет перед неминуемой болью. А потом, в Акапулько, огромные крысы-ящерицы восстали от своего каменного сна, и бедняга Боб внезапно оказался не в окружении прелестных и томных граций или роя смешливых купидонов с розовыми попками, а среди чудовищ.

Тем временем мы добрались до места. За росшими вдоль канавы деревьями, под высоченным тополем стоял белый каркасный дом, по одну сторону которого виднелась ветряная мельница, по другую — амбар из рифленого железа. Ворота были закрыты. Боб остановил машину, и мы вылезли. К столбу ворот была прибита белая доска. На ней красовалась выведенная неумелой рукой ярко-красная надпись:

Пиявки лобзанья, и спрута объятья,

И ласки гориллы, от похоти шалой...

А люди вам нравятся — ваши собратья?

Да нет, пожалуй.

Это про тебя, ступай отсюда.

— Похоже, мы приехали правильно, — заметил я.

Боб кивнул. Мы открыли ворота, прошли по плотно утоптанной земле широкого двора и постучались. Дверь отворилась почти мгновенно: на пороге стояла полная пожилая женщина в очках, одетая в голубое хлопчатобумажное платье в цветочек и видавшую виды красную кофту. Женщина дружелюбно улыбнулась и спросила:

— Сломалась машина?

Мы отрицательно покачали головами, и Боб объяснил, что мы приехали к мистеру Тэллису.

— К мистеру Тэллису?

Улыбка на лице нашей собеседницы увяла; женщина посерьезнела и покачала головой.

— Разве вы не знаете? — спросила она. — Мистер Тэллис оставил нас полтора месяца назад.

— Вы имеете в виду умер?

— Оставил нас, — повторила она и принялась рассказывать.

Мистер Тэллис снял дом на год. Они же с мужем переехали в старую лачугу за амбаром. Правда, уборная там снаружи, но они к этому привыкли, еще когда жили в Северной Дакоте, да и зима, по счастью, выдалась теплая. Во всяком случае, они радовались деньгам — при теперешних-то ценах! — да и мистер Тэллис был очень мил, особенно когда они поняли, что он любит уединение.

— Должно быть, это он повесил объявление на воротах?

Пожилая леди кивнула и объяснила, что это-де такая уловка и что снимать доску она не намерена.

— Он долго болел? — поинтересовался я.

— Совсем не болел, — отозвалась она. — Хотя постоянно твердил про больное сердце.

Из-за него-то мистер Тэллис и оставил этот мир. В ванной. Она нашла его там однажды утром, принеся ему из лавки кварту молока и дюжину яиц. Он был уже холодный как камень. Наверное, пролежал всю ночь. В жизни она не испытывала подобного потрясения. А сколько хлопот потом — никто ведь не знал, есть ли у него где-нибудь родня. Вызвали врача, затем шерифа и, только получив разрешение суда, похоронили беднягу, который к тому времени уже отнюдь не благоухал. А потом его книги, бумаги и одежду сложили в коробки и запечатали, и теперь все это хранится где-то в Лос-Анджелесе — на случай, если объявится наследник. Теперь они с мужем снова перебрались в дом, и она чувствует себя неловко, потому что бедный мистер Тэллис заплатил вперед и мог бы жить здесь еще четыре месяца. Но, с другой стороны, конечно, она рада, потому что пошли дожди, иногда и снег, и уборная в доме, а не во дворе, как когда они жили в лачуге, — большое дело.

Она замолчала и перевела дух. Мы с Бобом переглянулись.

— Раз так, мы, пожалуй, поедем, — сказал я.

Однако пожилая леди и слышать об этом не хотела.

— Зайдите, — принялась настаивать она, — ну зайдите же.

Мы немного помялись, но уступили и прошли вслед за нею через крошечную прихожую в гостиную. В углу горела керосиновая печка; жаркий воздух был насыщен почти осязаемым запахом жареного и пеленок. У окна в качалке сидел похожий на гнома старичок и читал воскресный комикс. Рядом с ним бледная девушка с озабоченным лицом — на вид ей было не больше семнадцати — держала на одной руке младенца, а другой застегивала розовую кофточку. Ребенок срыгнул: в уголках рта у него появились пузырьки молока. Оставив последнюю пуговицу незастегнутой, юная мама нежно утерла надутые губки младенца. Из открытой двери в соседнюю комнату доносилось свежее сопрано, исполнявшее под гитару «И час грядет».

— Это мой муж, мистер Коултон, — объявила пожилая женщина.

— Рад познакомиться, — не отрывая глаз от комикса, проговорил гном.

— А это наша внучка Кейти. Она в прошлом году вышла замуж.

— Вижу, — отозвался Боб. Он поклонился девушке и отпустил ей одну из своих знаменитых обаятельных улыбок. Кейти взглянула на него, словно он был предметом меблировки, застегнула последнюю пуговицу, молча повернулась и полезла по крутой лестнице на верхний этаж.

— А это, — указывая на нас с Бобом, продолжала м-с Коултон, — друзья мистера Тэллиса.

Нам пришлось объяснить, что это не совсем так. Нам известна лишь работа мистера Тэллиса: она нас так заинтересовала, что мы приехали сюда в надежде познакомиться с ними вот узнали трагическую весть о его кончине.

Мистер Коултон поднял взгляд от газеты.

— Шестьдесят шесть, — сказал он. — Ему было всего шестьдесят шесть. А мне — семьдесят два. В октябре исполнилось.

Он торжествующе хихикнул, словно одержал победу, и вернулся к своему Смерчу Гордону — неуязвимому, бессмертному Смерчу, вечно странствующему рыцарю дев, но, увы, не таких, каковы они на самом деле, а таких, какими видятся идеалистам от бюстгальтерного производства.

— Я просмотрел то, что мистер Тэллис прислал к нам на студию, — проговорил Боб.

Гном опять поднял глаза.

— Вы киношник? — осведомился он.

Боб подтвердил.

Музыка в соседней комнате внезапно оборвалась на середине фразы.

— Важная шишка? — спросил мистер Коултон.

С очаровательной напускной скромностью Боб заверил его, что он всего-навсего сценарист, режиссурой балуется лишь от случая к случаю.

Гном медленно покивал:

— Я читал в газете, что Голдвин сказал, будто всем важным шишкам наполовину срежут жалованье.

Его глазки радостно блеснули, и он опять торжествующе хихикнул. Затем, внезапно потеряв интерес к реальности, он вернулся к своим мифам.

Иисус перед Лаблином! Я попытался уйти от болезненной темы, осведомившись у м-с Коултон, знала ли она, что Тэллис интересовался кино. Однако пока я задавал этот вопрос, ее внимание привлекли шаги в соседней комнате.

Я обернулся. В дверях, одетая в черный свитер и клетчатую юбку, стояла — кто? Леди Гамильтон в 16 лет, Нинон де Ланкло того периода, когда Колиньи лишил ее девственности, la petite Морфиль[[3]](#footnote-3), Анна Каренина в классной комнате.

— Это Рози, — гордо объявила м-с Коултон, — наша вторая внучка. Рози учится пению, хочет стать киноактрисой, — доверительно сообщила она Бобу.

— Как интересно! — с энтузиазмом воскликнул Боб, поднявшись и пожимая руку будущей леди Гамильтон.

— Может, вы что-нибудь ей посоветуете? — предложила любящая бабка.

— Буду счастлив.

— Принеси еще стул, Рози.

Девушка вскинула ресницы и бросила на Боба короткий, но внимательный взгляд.

— Не возражаете, если мы посидим на кухне? — спросила она.

— Ну разумеется, нет!

Они скрылись в глубине дома. Глянув в окно, я увидел, что холмы снова в тени. Крысы-ящерицы закрыли глаза и притворились мертвыми — но только чтобы усыпить бдительность жертвы.

— Это больше чем удача, — говорила м-с Коултон, — это перст провидения! Как раз когда Рози нужна поддержка, появляется важная шишка из кино.

— Как раз когда кино вот-вот прогорит, как и эстрада, — не поднимая глаз от страницы, вмешался гном.

— Почему ты так говоришь?

— Это не я, это Голдвин, — ответил старик.

Из кухни донесся смех, на удивление младенческий. Боб явно делал успехи. Я почувствовал приближение второй поездки в Акапулько — с последствиями, еще более катастрофическими, чем после первой.

Бесхитростная сводница м-с Коултон радостно улыбнулась.

— Мне нравится ваш приятель, — сказала она. — Умеет обращаться с детьми. Никакого дешевого форса.

Я молча проглотил скрытый укор и опять спросил, знает ли она, что мистер Тэллис интересовался кино.

Она кивнула. Да, он говорил ей, что послал что-то на одну из студий. Хотел немного подзаработать. Не для себя — он хоть и потерял почти все, что у него когда-то было, но на жизнь ему хватало. Нет, ему нужны были деньги, чтобы посылать в Европу. Он был женат на немецкой девушке — давно, еще перед Первой мировой войной. Потом они развелись, и она с ребенком осталась в Германии. А теперь в живых осталась одна внучка. Мистер Тэллис хотел, чтобы она приехала сюда, но в Вашингтоне не разрешили. Поэтому ему оставалось лишь послать ей побольше денег, чтобы она могла нормально питаться и закончить учение. Вот он и написал для кино эту штуку.

Ее слова вдруг напомнили мне эпизод из сценария Тэллиса — что-то о детях послевоенной Европы, продававших себя за плитку шоколада. Не была ли его внучка одной из таких девочек? «Ich давать тебе Schokolade, du давать мне Liebe[[4]](#footnote-4). Поняла?» Они понимали прекрасно. Плитка до и две после.

— А что случилось с его женой? И с родителями внучки? — спросил я.

— Они оставили нас, — ответила м-с Коултон. — Кажется, они были евреи или что-то в этом роде.

— Заметьте, — внезапно вмешался гном, — я не против евреев. Но все же... — Он помолчал. — Может, Гитлер был не такой уж болван.

Я понял, что на сей раз он вынес вердикт всяческим возмутителям спокойствия.

Из кухни снова послышался взрыв детского веселья. Шестнадцатилетняя леди Гамильтон смеялась так, словно ей было лет одиннадцать. А между тем насколько точно выверен и технически совершенен был взгляд, которым она встретила Боба! Сильнее всего в Рози настораживало, конечно, то, что она была невинной и одновременно искушенной, расчетливой искательницей приключений и вместе с тем школьницей с косичками.

— Он женился вторично, — продолжала пожилая леди, не обращая внимания ни на хихиканье, ни на антисемитизм. — На актрисе. Он мне говорил, как ее звали, да я позабыла. Но это продолжалось недолго. Она сбежала с каким-то типом. И правильно, я считаю, раз у него осталась жена в Германии. Не нравится мне, когда разводятся да выходят за чужих мужей.

Наступило молчание; я мысленно пытался представить биографию мистера Тэллиса, которого в жизни не видел. Молодой человек из Новой Англии. Из хорошей семьи, образован неплохо, но без педантичности. Одарен, но не настолько, чтобы променять досужую жизнь на тяготы профессионального писательства. Из Гарварда отправился в Европу, вел приятную жизнь, везде знакомился с самыми интересными людьми. А потом в Мюнхене — я в этом убежден — он влюбился. Мысленно я представил себе девушку в немецком эквиваленте одежд статуи Свободы — дочь какого-нибудь преуспевающего художника либо покровителя искусств. Одно из тех почти бесплотных созданий, которые были зыбким продуктом вильгельмовского благосостояния и культуры; существо, одновременно неуверенное и впечатлительное, очаровательно непредсказуемое и убийственно идеалистическое, tief[[5]](#footnote-5) и немецкое. Тэллис влюбился, женился, несмотря на холодность жены, произвел ребенка и едва не задохнулся в гнетущей душевности домашней атмосферы. Какими свежими и здоровыми в сравнении с этим показались ему воздух Парижа и окружение молодой бродвейской актрисы, которую он встретил, приехав туда отдохнуть.

La belle Américaine,

Qui rend les hommes fous,

Dans deux ou trois semaines

Partira pour Corfou[[6]](#footnote-6).

Но эта не уехала на Корфу, а если и уехала, то в обществе Тэллиса. И она не была ни холодной, ни зыбкой, ни неуверенной, ни впечатлительной, ни глубокой, ни душевной; снобизма от искусства в ней тоже не было. К несчастью, она была до некоторой степени сукой. И с годами степень эта все росла. К тому времени, как Тэллис с нею развелся, она превратилась в суку окончательно.

Оглянувшись назад с выгодной позиции 1947 года, придуманный мною Тэллис мог весьма отчетливо увидеть все, что он наделал: ради физического удовольствия, сопровождавшегося возбуждением и исполнением эротических мечтаний, обрек жену и дочь на смерть от руки маньяков, а внучку — на ласки первого попавшегося солдата или спекулянта с полными карманами леденцов либо способного прилично накормить.

Романтические фантазии! Я повернулся к м-с Коултон.

— Жаль, что я его не знал, — проговорил я.

— Он вам понравился бы, — убежденно ответила она. — Мистер Тэллис нам всем нравился. Я хочу вам кое-что сказать, продолжала она. — Всякий раз, когда я езжу в Ланкастер, в дамский бридж-клуб, я захожу на кладбище навестить его.

— И я уверен, что это ему противно, — добавил гном.

— Но, Элмер! — протестующе воскликнула его жена.

— Да я же слышал, как мистер Тэллис сам говорил об этом, — не сдавался мистер Коултон. — И не раз. «Если я умру здесь, — говорил он, — то пусть меня схоронят в пустыне».

— То же самое он написал в сценарии, который прислал на студию, — подтвердил я.

— Правда? — В голосе м-с Коултон послышалось явное недоверие.

— Да, он даже описал могилу, в какой хотел бы лежать. Одинокую могилу под юккой.

— Я мог бы ему объяснить, что это незаконно, — вставил гном. — С тех пор как владельцы похоронных контор протащили в Сакраменто свое предложение. Я знаю случай, когда человека пришлось выкопать через двадцать лет после того, как его похоронили за теми холмами. — Он махнул рукой в сторону гойевских ящеровидных крыс. — Чтобы все уладить, племяннику пришлось выложить триста долларов.

При этом воспоминании гном хихикнул.

— А вот я не хочу, чтобы меня хоронили в пустыне, — категорично заявила его жена.

— Почему?

— Слишком одиноко, — ответила она. — Просто ужасно.

Пока я раздумывал, о чем говорить дальше, по лестнице с пеленкой в руке спустилась бледная юная мать. На секунду остановившись, она заглянула в кухню.

— Послушай-ка, Рози, — проговорила она низким сердитым голосом, — теперь тебе неплохо бы для разнообразия поработать.

С этими словами она отвернулась и направилась в прихожую, где через открытую дверь виднелись все удобства ванной комнаты.

— Опять у него понос, — проходя мимо бабки, с горечью констатировала она.

Раскрасневшаяся, с горящими глазами, будущая леди Гамильтон вышла из кухни. За нею в дверном проеме показался будущий Гамильтон, который изо всех сил пытался представить себе, как он станет лордом Нельсоном.

— Бабуля, мистер Бриггз считает, что сможет устроить мне кинопробу, — сообщила девушка.

Вот идиот! Я встал.

— Нам пора, Боб, — сказал я, понимая, что уже слишком поздно.

Через приоткрытую дверь из ванной доносилось хлюпанье стираемых в тазу пеленок.

— Слушай, — шепнул я Бобу, когда мы проходили мимо.

— Что слушать? — удивился он.

Я пожал плечами. У них есть уши, а не слышат.

Таким образом, в тот раз мы ближе всего подобрались к Тэллису во плоти. В том, что написано ниже, читатель найдет отражение его мыслей. Я публикую текст «Обезьяны и сущности» таким, каким он ко мне попал, без каких бы то ни было переделок и комментариев.

## II

## Сценарий

Титры; в конце — под аккомпанемент труб и хора ликующих ангелов имя ПРОДЮСЕРА.

Музыка меняется; и если бы Дебюсси был жив, он сделал бы ее невероятно утонченной, аристократичной, начисто лишив вагнеровской похотливости и развязности, равно как штраусовской вульгарности. Дело в том, что на экране — предрассветный час, причем снятый не на «Техниколоре», а на кое-чем получше. Кажется, ночь замешкалась во мраке почти гладкого моря, однако по краям неба прозрачно-бледная зелень — чем ближе к зениту, тем голубее. На востоке еще видна утренняя звезда.

###### Рассказчик

Невыразимая красота, непостижимый покой...

Но, увы, на нашем экране

Этот символ символов,

Наверное, будет похож

На иллюстрацию миссис Имярек

К стихотворению Эллы

Уилер Уилкокс.

Из всего высокого, что есть в природе,

Искусство слишком часто производит

Только смешное.

Но нужно идти на риск,

Потому что вам, сидящим в зале,

Как угодно, любою ценой,

Ценою стишков Уилкокс или еще похуже,

Как-то нужно напомнить,

Вас нужно заставить вспомнить,

Вас нужно умолить, чтобы вы захотели

Понять, что есть что.

###### \* \* \*

По мере того как Рассказчик говорит, символ символов вечности постепенно исчезает, и на экране появляется переполненный зал роскошного кинотеатра. Свет становится ярче, и мы вдруг видим, что зрители — это хорошо одетые бабуины обоих полов и всех возрастов, от детей до впавших в детство.

###### Рассказчик

Но человек —

Гордец с недолгой и непрочной властью —

Не знает и того, в чем убежден.

Безлика его сущность перед небом,

Она так корчит рожи обезьяньи,

Что ангелы рыдают.

Новый кадр: обезьяны внимательно смотрят на экран. На фоне декораций, какие способны выдумать только Семирамида или «Метро-Голдвин-Майер», мы видим полногрудую молодую бабуинку в перламутровом вечернем платье, с ярко накрашенными губами, мордой, напудренной лиловой пудрой, и горящими, подведенными черной тушью глазами. Сладострастно покачиваясь — насколько позволяют ей короткие ноги, — она выходит на ярко освещенную сцену ночного клуба и под аплодисменты нескольких сотен пар волосатых рук приближается к микрофону в стиле Людовика XV. За ней на легкой стальной цепочке, прикрепленной к собачьему ошейнику, выходит на четвереньках Майкл Фарадей.

###### Рассказчик

«Не знает и того, в чем убежден...» Едва ли следует добавлять: то, что мы называем знанием, — лишь другая форма невежества, разумеется, высокоорганизованная, глубоко научная, но именно поэтому и более полная, более чреватая злобными обезьянами. Когда невежество было просто невежеством, мы уподоблялись лемурам, мартышкам и ревунам. Сегодня же благодаря нашему знанию — высшему невежеству — человек возвысился до такой степени, что самый последний из нас — это бабуин, а самый великий — орангутан или, если он возвел себя в ранг спасителя общества, даже самая настоящая горилла.

Юная бабуинка тем временем дошла до микрофона. Обернувшись, она замечает, что Фарадей стоит на коленях, пытаясь распрямить согнутую ноющую спину.

— Место, сэр, место!

Тон у нее повелительный; она наносит старику удар своим хлыстом с коралловой ручкой. Фарадей отшатывается и опять опускается на четвереньки; публика в зале радостно хохочет. Бабуинка посылает ей воздушный поцелуй, затем, подвинув микрофон поближе, обнажает свои громадные зубы и альковным контральто начинает с придыханием самоновейший шлягер.

Любовь, любовь, любовь,

Любовь, ты — квинтэссенция

Всего, о чем я думаю, что совершаю я.

Хочу, хочу, хочу,

Хочу детумесценции,

Хочу тебя.

Крупный план: лицо Фарадея, на котором последовательно появляются изумление, отвращение, негодование и, наконец, такие стыд и мука, что по морщинистым щекам начинают катиться слезы.

Монтажная композиция: кадры, изображающие радиослушателей в Земле Радиофицированной.

Полная бабуинка-домохозяйка жарит колбасу, а динамик дарит ей воображаемое исполнение и реальное обострение самых сокровенных ее желаний.

Маленький бабуинчик встает в кроватке, достает с комода портативный радиоприемник и настраивает его на обещание детумесценции.

Бабуин-финансист средних лет отрывается от биржевых бюллетеней и слушает: глаза закрыты, на губах экстатическая улыбка. Хочу, хочу, хочу, хочу.

Двое бабуинов-подростков неумело обнимаются под музыку в стоящей у обочины машине. «Хочу тебя-а». Рты и лапы крупным планом.

Снова кадры с плачущим Фарадеем. Певица оборачивается, замечает его искаженное лицо, в гневе вскрикивает и принимается бить старика: один жестокий удар следует за другим; публика оглушительно рукоплещет. Золотые и яшмовые стены ночного клуба тают, и в течение нескольких секунд мы видим обезьяну и ее мудрого пленника на фоне рассветного полумрака первого эпизода. Затем фигуры постепенно исчезают, и перед нами остается лишь символ символов вечности.

###### Рассказчик

Море, яркая звезда, бескрайний кристалл неба — ну, конечно, вы их помните! Конечно! Неужели же вы забыли, неужели никогда так и не открыли для себя того, что лежит за пределами умственного зоосада, за пределами сумасшедшего дома, что внутри вас, за пределами всего этого Бродвея театриков воображения, в которых яркими огнями всегда горит лишь ваше имя?

Камера проходит по небу, и вот линию горизонта разрывает черный иззубренный силуэт скалистого острова. Мимо острова плывет большая четырехмачтовая шхуна. Камера приближается, и мы видим, что шхуна идет под новозеландским флагом и называется «Кентербери». Капитан и кучка пассажиров стоят у поручней, напряженно глядя на восток. Сквозь их бинокли нам видна линия голого побережья. И тут почти внезапно из-за силуэтов далеких гор встает солнце.

###### Рассказчик

Только что народившийся яркий день — это двадцатое февраля две тысячи сто восьмого года, а мужчины и женщины на палубе — это члены новозеландской экспедиции по вторичному открытию Северной Америки. Обойденная воюющими сторонами в третьей мировой войне — вряд ли нужно говорить, что не из соображений гуманности, а просто потому, что, так же как и Экваториальная Африка, она находилась слишком далеко, чтобы кто-нибудь стал тратить время на ее уничтожение, — Новая Зеландия выжила и даже скромненько процветала в своей изоляции, которая из-за опасного уровня радиоактивного заражения в остальных частях света была почти абсолютной в течение более ста лет. Теперь опасность миновала, и первые исследователи отправились вновь открывать Америку, но на этот раз с запада. А тем временем на другой стороне планеты чернокожие люди спустились по Нилу и пересекли Средиземное море. Как прекрасны ритуальные пляски в населенных летучими мышами залах Матери Парламентов! А лабиринты Ватикана — что за превосходное место для проведения долгих и замысловатых обрядов обрезания женщин! Мы всегда получаем именно то, что просим.

Экран темнеет, слышен гром орудийной пальбы. Когда свет загорается снова, позади группы бабуинов в мундирах, опустившись на корточки, сидит на привязи доктор Альберт Эйнштейн.

Камера движется по узкой полосе ничейной земли, усеянной камнями, сломанными деревьями и трупами, и останавливается на другой группе животных — с другими знаками отличия и под другим флагом, однако с таким же доктором Альбертом Эйнштейном, на такой же привязи, точно так же сидящим на корточках подле их высоченных сапог. Под взъерошенными волосами на добром, наивном лице выражение болезненного смущения. Камера перемещается туда и обратно, от одного Эйнштейна к другому. Крупный план: два одинаковых лица уставились друг на друга сквозь частокол начищенных кожаных сапог своих хозяев.

На звуковой дорожке голос, саксофоны и виолончели дружно тоскуют по детумесценции.

— Это ты, Альберт? — неуверенно спрашивает один из Эйнштейнов.

Другой медленно кивает:

— Боюсь, что да, Альберт.

Внезапный ветер полощет в небе флаги враждующих армий. Цветные узоры на флагах раскрываются, затем флаги опять сворачиваются, вновь разворачиваются и опять свертываются.

###### Рассказчик

Вертикальные полосы, горизонтальные полосы, крестики и нолики, орлы и молоты. Чисто условные знаки. Но всякая реальность, если к ней привязан знак, уже зависит от своего знака. Госвами и Али жили мирно. Но у меня есть флаг, у тебя есть флаг, у всех бабуино-божественных детей есть флаги. Даже Али и Госвами имеют флаги, и вот благодаря этому оправдывается многое: например, тот, у кого есть крайняя плоть, выпускает кишки тому, у кого ее нет, обрезанец стреляет в необрезанца, насилует его жену и поджаривает его детей на медленном огне.

Но тем временем над флагами плывут громады облаков, за облаками — голубая пустота, символ нашей безликой сущности, а у основания флагштока растет пшеница, и изумрудный рис, и просо. Хлеб для плоти и хлеб для духа. Нам нужно сделать выбор между хлебом и флагами. И вряд ли нужно добавлять, что мы почти единодушно выбираем флаги.

Камера опускается от флагов к Эйнштейнам, а с них переходит на обильно украшенных знаками отличия генштабистов на заднем плане. Неожиданно оба фельдмаршалиссимуса одновременно подают какую-то команду. Мгновенно с обеих сторон появляются бабуины-техники с моторизованными аэрозольными установками. На баках с аэрозолем одной армии написано слово «Супертуляремия», на баках противника — «Сап повышенного качества, 99,44 % чистоты гарантируется». У каждой группы техников с собой талисман — Луи Пастер на цепочке. Звуковая дорожка напоминает о девушке-бабуинке: «Хочу, хочу, хочу, хочу детумесценции...» Вскоре эти сладострастные напевы переходят в мелодию «Земля надежды и славы», исполняемую сводным духовым оркестром и четырнадцатитысячным хором.

###### Рассказчик

Что за земля, ты спросишь? Я отвечу:

Любая старая земля.

И слава, ясно, Обезьяньему Царю.

Что ж до надежды,

Ее — будь счастливо твое сердечко — нет вообще,

Есть лишь катастрофически большая вероятность

Внезапного конца

Или мучительнейшей, дюйм за дюймом,

Последней и неисцелимой

Детумесценции.

Крупный план: лапы и вентили; затем камера отъезжает. Из баков вырываются клубы желтого дыма и лениво ползут по ничейной земле навстречу друг другу.

###### Рассказчик

Сап, друзья мои, сап — болезнь лошадиная, у людей встречается редко. Но не бойтесь: наука легко может превратить ее в болезнь универсальную. А вот и ее симптомы. Дикие боли во всех суставах. Гнойники по телу. Под кожей — твердые узелки, которые в конце концов прорываются и превращаются в шелушащиеся язвы. Тем временем воспаляется слизистая оболочка носа, откуда начинает обильно выделяться зловонный гной. В ноздрях вскоре образуются язвы, которые поражают окружающие кости и хрящи. С носа инфекция переходит на глаза, рот, глотку и бронхиальное дерево. Через три недели большинство больных умирает. Позаботиться о том, чтобы умирали все поголовно, было поручено группе блестящих молодых докторов наук, которые служат сейчас вашему правительству. И не только ему, а всем другим, избранным или самолично назначившим себя организаторами всемирной коллективной шизофрении. Биологи, патологи, физиологи — вот они идут домой, к семьям, после тяжелого трудового дня в лабораториях. Объятия сладкой женушки, возня с детками. Спокойный обед с друзьями, затем вечер камерной музыки, а может, умный разговор о политике или философии. В одиннадцать — постель и привычный экстаз супружеской любви. А утром, после апельсинового сока и овсяных хлопьев, они опять спешат на службу — выяснять, каким образом еще большее число семей, таких же как их собственные, можно отравить еще более смертоносным штаммом bacillus mallei[[7]](#footnote-7).

Маршалиссимусы снова выкрикивают команду. Обезьяны в сапогах, отвечающие за запас гениев в каждой армии, резко щелкают бичами и дергают за сворки.

Крупный план: Эйнштейны пробуют сопротивляться.

— Нет, нет... не могу. Говорю же, не могу.

— Предатель!

— Где твой патриотизм?

— Грязный коммунист!

— Вонючий буржуа! Фашист!

— Красный империалист!

— Капиталист-монополист!

— Получай же!

— Получай!

Избитых, исполосованных плетьми, полузадушенных Эйнштейнов подтаскивают наконец к неким подобиям караульных будок. Внутри будок — приборные панели с циферблатами, кнопками и тумблерами.

###### Рассказчик

Но это ж ясно.

Это знает каждый школьник.

Цель обезьяной выбрана, лишь средства — человеком.

Кормилец Papio и бабуинский содержанец,

Несется к нам на все готовый разум.

Он здесь, воняя философией, тиранам славословит;

Здесь Пруссии клеврет, с общедоступной «Историей»

Гегеля под мышкой;

Здесь, с медициной вместе, готов ввести гормоны

половые от Обезьяньего Царя.

Он здесь, с риторикою вместе: слагает вирши он,

она их следом пишет,

Здесь, с математикою вместе, готов направить

все свои ракеты

На дом сиротский, что за океаном;

Он здесь — уже нацелился, и фимиам курит

благочестиво,

И ждет, что Богородица скомандует: «Огонь!»

Духовой оркестр уступает место самому заунывному из «Вурлитцеров», вместо «Земли надежды и славы» звучит «Христово воинство». В сопровождении его высокопреподобия настоятеля и капитула величественно шествует его преосвященство бабуин-епископ Бронкса, держа посох в унизанной перстнями лапе; он собирается благословить обоих фельдмаршалиссимусов на их патриотические начинания.

###### Рассказчик

Церковь и государство,

Алчность и коварство —

Два бабуина в одной верховной горилле.

###### Omnes [[8]](#footnote-8)

Аминь, аминь.

###### Епископ

In nominem Babuini[[9]](#footnote-9).

На звуковой дорожке звучит лишь vox humana[[10]](#footnote-10) и ангельские голоса певчих.

«Крест (dim) святой (рр) нас в битву (ff) за собой ведет».

Огромные лапы ставят Эйнштейнов на ноги; крупным планом камера показывает, как эти лапы сжимают кисти ученых. Пальцы, которые писали уравнения и исполняли музыку Иоганна Себастьяна Баха, направляемые обезьянами, хватаются за рукояти рубильников и с ужасом и отвращением опускают их вниз. Слышен негромкий щелчок, затем надолго наступает тишина, которую в конце концов прерывает голос Рассказчика.

###### Рассказчик

Даже реактивным снарядам, летящим со сверхзвуковой скоростью, требуется определенное время, чтобы достичь цели. Давайте-ка поэтому перекусим, ребята, в ожидании Судного дня!

Обезьяны открывают ранцы, швыряют Эйнштейнам по куску хлеба, несколько морковок и кусочков сахара, а сами наваливаются на ром и копченую колбасу.

Наплыв: палуба шхуны, ученые экспедиции тоже завтракают.

###### Рассказчик

Это — некоторые из переживших Судный день. Что за милые люди! И цивилизация, которую они представляют, тоже милая. Конечно, ничего особенно захватывающего и эффектного. Ни Парфенонов или Сикстинских капелл, ни Ньютонов, Моцартов и Шекспиров, но зато ни Эццелино, ни Наполеонов, Гитлеров и Джеев Гулдов, ни инквизиции и НКВД, ни чисток, ни погромов, ни судов Линча. Ни высот, ни бездн, но зато вдоволь молока для детей, сравнительно высокий интеллектуальный коэффициент и все прочее — спокойно, провинциально, весьма уютно, разумно и гуманно.

Один из стоящих на палубе подносит к глазам бинокль и всматривается в берег, до которого всего мили две. Внезапно у него вырывается радостное и удивленное восклицание.

— Взгляните-ка! — Он передает бинокль одному из спутников. — Там, на гребне холма.

Тот смотрит.

Крупный план: низкие холмы. На верхушке одного из них на фоне неба вырисовываются три нефтяные вышки, словно оборудование модернизированной Голгофы повышенной производительности.

— Нефть! — возбужденно восклицает второй наблюдатель. — И вышки еще стоят.

— Еще стоят?

Общее изумление.

— Это означает, — говорит старый геолог профессор Крейги, — что взрывов здесь практически не было.

— Взрывы совершенно не обязательны, — объясняет его коллега с кафедры ядерной физики. — Радиоактивное заражение действует не хуже и на гораздо больших площадях.

— Вы, похоже, забыли о бактериях и вирусах, — вступает в разговор биолог профессор Грэмпиен. Он говорит тоном человека, который почувствовал себя ущемленным.

Его молодая жена — она всего-навсего антрополог и не может поэтому внести в спор свою лепту — ограничивается тем, что бросает на физика злобный взгляд.

Ботаник мисс Этель Хук, которой твидовый костюм придает весьма спортивный, а очки в роговой оправе — весьма интеллигентный вид, напоминает, что тут почти наверняка и в больших масштабах имело место заражение растений. За подтверждением она оборачивается к своему коллеге доктору Пулу; тот одобрительно кивает.

— Болезни продовольственных культур, — наставительно сообщает он, — должны быть рассчитаны на длительный эффект, едва ли менее серьезный, нежели эффект, производимый расщепляемыми веществами или искусственными пандемиями. Возьмем, к примеру, картофель...

— Ну, стоит ли заниматься всякой мудреной галиматьей? — грубовато выпаливает механик экспедиции доктор Кадворт. — Перережьте водоснабжение, и через неделю все будет кончено. Без водички — кверху лапками птички, — в восторге от своей шутки оглушительно хохочет он.

Тем временем психолог доктор Шнеглок сидит и слушает с улыбкой, едва маскирующей презрение.

— А к чему заниматься водоснабжением? — осведомляется он. — Нужно лишь пригрозить соседу оружием массового уничтожения. Остальное предоставьте панике. Вспомните-ка, что, к примеру, сделала психологическая подготовка с Нью-Йорком. Коротковолновые трансляции из-за океана, заголовки в вечерних газетах. В результате восемь миллионов жителей тут же принялись затаптывать друг друга насмерть на мостах и в туннелях. Выжившие рассеялись за городом — словно саранча, словно полчища чумных крыс. Они заражали воду. Распространяли брюшной тиф, дифтерит, венерические болезни. Кусали, рвали, грабили, убивали, насиловали. Питались дохлыми собаками и трупами детей. По ним без предупреждения открывали огонь фермеры, их избивала дубинками полиция, обстреливала из пулеметов национальная гвардия, их вешали комитеты самообороны. То же самое происходило в Чикаго, Детройте, Филадельфии, Вашингтоне, Лондоне, Париже, Бомбее, Шанхае, Токио, Москве, Киеве и Сталинграде — в каждой столице, в каждом промышленном центре, в каждом порту, на каждом железнодорожном узле, во всем мире. Цивилизация была разрушена без единого выстрела. Никак не могу понять: почему военные считают, что без бомб не обойтись?

###### Рассказчик

Любовь изгоняет страх, страх в свой черед изгоняет любовь. И не только любовь. Страх изгоняет ум, доброту, изгоняет всякую мысль о красоте и правде. Остается лишь немое или нарочито юмористическое бездумие человека, который прекрасно знает, что непотребное Нечто сидит в углу его комнаты и что дверь заперта, а окон и вовсе нет. И вот оно набрасывается на него. Человек чувствует пальцы на своем рукаве, в нос ему бьет смрадное дыхание — это помощник палача чуть ли не с нежностью наклонился к нему. «Твоя очередь, приятель. Будь добр, сюда». На секунду тихий ужас человека превращается в ярость — сколь неистовую, столь же тщетную. И нет уже человека, живущего среди себе подобных, нет разумного существа, членораздельно разговаривающего с другим разумным существом, — есть лишь капкан и в нем окровавленное животное, которое бьется и визжит. Ведь в конце концов страх изгоняет и человеческую сущность. А страх, милые мои друзья, страх — это основа основ, фундамент современной жизни. Страх перед разрекламированной техникой, которая, поднимая уровень нашей жизни, увеличивает вероятность нашей насильственной смерти. Страх перед наукой, которая одной рукой отбирает больше, нежели столь щедро дает другой. Страх перед явно гибельными институтами, за которые мы в нашей самоубийственной преданности готовы убивать и умирать. Страх перед великими людьми, под возгласы всенародного одобрения возвышенными нами до власти, которую они неминуемо используют, чтобы убивать нас или превращать в рабов. Страх перед войной, которой мы не хотим, и тем не менее делаем все, чтобы ее развязать.

###### \* \* \*

Пока Рассказчик говорит, на экране наплыв: бабуины и пленные Эйнштейны завтракают под открытым небом. Они со смаком едят и пьют, а тем временем на звуковой дорожке первые два такта «Христова воинства» повторяются опять и опять, быстрее и быстрее, громче и громче. Внезапно музыку прерывает первый страшный взрыв. Темнота. Затем долгие и оглушительные взрывы, грохот, визг, вой. Потом наступает тишина, экран светлеет, и снова на нем предрассветный час и утренняя звезда; слышна нежная музыка.

###### Рассказчик

Невыразимая красота, непостижимый покой...

Далеко на горизонте в небо вздымается столб розоватого дыма, приобретает форму громадной поганки и висит, заслоняя одинокую планету.

Наплыв: все та же сцена завтрака. Все бабуины мертвы. Оба Эйнштейна, в кошмарных ожогах, лежат под останками того, что еще недавно было цветущей яблоней. Из стоящего неподалеку бака все еще выползает «Сап повышенного качества».

На заднем плане — огромная канализационная труба, расколотая со стороны моря.

###### Рассказчик

Парфенон, Колизей —

О слава Греции, величье и т. д.

Есть и другие —

Фивы и Копан, Ареццо и Аджанта;

То — города, что брали силой небо

И спящую Божественную мудрость.

Виктория же славу заслужила,

Бесспорно, лишь одним ватерклозетом,

А Франклин Делано снискал величье

Сей исполинской сточною трубою,

Давно сухой, разбитой... Ихавод!

Презервативы из нее давно

(Нетонущие, как надежда или похоть)

Сей дикий брег не убеляют, словно россыпь

То ль анемонов, то ли маргариток.

###### Первый Эйнштейн

— За что? Почему?

###### Второй Эйнштейн

— Мы же никому не делали зла...

###### Первый Эйнштейн

— Жили только ради истины...

###### Рассказчик

Вот потому-то вы и умираете на жестокой службе у бабуинов. Паскаль объяснил все это еще более трехсот лет назад. «Из истины мы делаем идола, но истина без сострадания — это не Бог, а лишь мысленное его отображение, это идол, которого мы не должны любить и которому не должны поклоняться». Вы жили ради поклонения идолу. Но в конечном счете имя каждого идола — Молох. Вот так-то, друзья мои, вот так-то.

Подхваченные внезапным порывом ветра неподвижные клубы ядовитого газа бесшумно ползут, его зеленовато-гнойные кольца крутятся вокруг цветов яблони, потом опускаются и окутывают распростертые фигуры. Сдавленные хрипы возвещают о том, что наука двадцатого века наложила на себя руки.

Наплыв: мыс на побережье южной Калифорнии, милях в двадцати западнее Лос-Анджелеса. Ученые экспедиции высаживаются из вельбота.

Тем временем ученые во главе с доктором Крейги пересекли пляж, взобрались на пологую скалу и движутся песчаной, выветренной равниной к далеким нефтяным вышкам на холмах.

Камера задерживается на докторе Пуле, главном ботанике экспедиции. Словно пасущаяся овца, он переходит от растения к растению, рассматривая цветы через лупу, собирая образцы в специальную коробку и делая пометки в черной книжечке.

###### Рассказчик

А вот и наш герой — Алфред Пул, доктор наук, более известный своим студентам и младшим коллегам как Тихоня-Пул. Это прозвище, увы, к нему весьма подходит. Как видите, он не урод, член Новозеландского королевского общества и, безусловно, не дурак, однако в практической жизни ум его словно бы лежит под спудом, а привлекательность никак не может раскрыться. Он живет как будто за стеклянной стеной: его всем видно, и сам он всех видит, но вот вступить в контакт не в состоянии. А виной тому — и доктор Шнеглок с кафедры психологии охотно вам все объяснит, — виной тому его преданная и глубоко вдовствующая мать, эта святая, этот нравственный оплот, этот вампир, до сих пор занимающий председательское место за обеденным столом сына и собственными руками стирающий его шелковые сорочки и самоотверженно штопающий его носки.

Кипя энтузиазмом, в кадре появляется мисс Хук.

— Ну разве не интересно, Алфред? — восклицает она.

— Очень, — учтиво отвечает доктор Пул.

— Увидеть Yucca gloriosa[[11]](#footnote-11) на ее родине, в естественной обстановке — ну кто мог предположить, что нам представится такой случай? И Artemisia tridentata[[12]](#footnote-12)!

— На Artemisia еще есть несколько цветков, — замечает доктор Пул. — Вы не заметили в них ничего необычного?

Мисс Хук разглядывает цветки, потом отрицательно качает головой.

— Они гораздо крупнее тех, что описаны в старинных учебниках, — с явно сдерживаемым волнением говорит он.

— Гораздо крупнее? — повторяет она. Ее лицо оживляется. — Алфред, неужели вы думаете?..

— Готов поспорить, — кивает доктор Пул, — это тетраплоидия. Вызвана гамма-облучением.

— О, Алфред! — в восторге восклицает мисс Хук.

###### Рассказчик

В своем твидовом костюме и роговых очках Этель Хук являет собой образец необычайно цветущей, удивительно расторопной и чрезвычайно английской девушки — на такой вам и в голову не придет жениться, если только вы сами не столь же цветущи, не в той же мере англичанин и не расторопны в еще большей степени. Видимо, именно потому в свои тридцать пять Этель еще не замужем. Еще нет, но она смеет надеяться, что скоро положение изменится. И хотя милый Алфред еще не сделал ей предложения, она точно знает (и знает, что он тоже знает): его матери этого очень хочется, а ведь Алфред — образцово послушный сын. К тому же у них так много общего: ботаника, университет, поэзия Вордсворта. Она уверена, что, прежде чем они вернутся в Окленд, обо всем уже будет договорено — скромная церемония, совершенная милым доктором Трильямсом, медовый месяц в Южных Альпах, возвращение в чудный домик в Маунт-Идене, а через полтора года первый ребенок...

В кадре остальные члены экспедиции, карабкающиеся на холм с нефтяными вышками. Идущий впереди профессор Крейги останавливается, утирает лоб и пересчитывает своих подопечных.

— А где Пул? — спрашивает он. — И Этель Хук?

Кто-то делает движение рукой, и на дальнем плане мы видим фигурки ботаников.

В кадре снова профессор Крейги: он прикладывает руки рупором ко рту и зовет:

— Пул! Пул!

— Чего вы не дадите им немножко полюбезничать? — добродушно осведомляется Кадворт.

— Вот еще! Полюбезничать! — насмешливо фыркает доктор Шнеглок.

— Но ведь она явно к нему неравнодушна.

— Где двое, там и шашни.

— Уж будьте уверены, она заставит его сделать предложение.

— С таким же успехом можно ожидать, что он переспит с собственной матерью, — многозначительно замечает доктор Шнеглок.

— Пул! — снова кричит профессор Крейги и, повернувшись к остальным, раздраженно добавляет: — Терпеть не могу, когда кто-то отстает. В незнакомой стране... Кто его знает...

И снова принимается орать.

В кадре опять доктор Пул и мисс Хук. Услышав крики, они отрываются от своей тетраплоидной Artemisia, машут руками и спешат вдогонку остальным. Внезапно доктор Пул замечает нечто, заставляющее его громко вскрикнуть.

— Смотрите! — Он указывает пальцем.

— Что это?

— Echinocactus hexaedrophorus[[13]](#footnote-13), да какой красивый!

Средний план: доктор Пул замечает среди зарослей полыни полуразрушенный домик. Крупный план: кактус у двери между двумя камнями. В кадре снова доктор Пул. Из висящего на поясе кожаного футляра он достает длинный и узкий садовый совок.

— Вы хотите его выкопать?

Вместо ответа он подходит к кактусу и присаживается на корточки.

— Профессор Крейги рассердится, — протестует мисс Хук.

— Догоните и успокойте его.

Несколько секунд мисс Хук озабоченно смотрит на доктора Пула.

— Мне так не хочется оставлять вас одного, Алфред.

— Вы говорите, словно я пятилетний ребенок, — раздраженно отвечает он. — Ступайте, я сказал.

Он отворачивается и принимается выкапывать кактус.

Мисс Хук подчиняется не сразу, а какое-то время молча смотрит на него.

###### Рассказчик

Трагедия — это фарс, вызывающий у нас сочувствие, фарс — трагедия, которая происходит не с нами. Этакая твидовая и радостная, цветущая и расторопная мисс Хук — объект самого легкого сатирического жанра и вместе с тем субъект личного дневника. Какие пылающие закаты видела она и безуспешно пыталась описать! Какие бархатные, сладострастные летние ночи! Какие чудные, поэтичные весенние дни! И, разумеется, потоки чувств, искушения, надежды, страстный стук сердца, унизительные разочарования! И вот теперь, после всех этих лет, после стольких заседаний комитета, стольких прочитанных лекций и проверенных экзаменационных работ, теперь наконец, двигаясь Его неисповедимыми путями, она чувствует, что Бог сделал ее ответственной за этого беспомощного и несчастного человека. Он несчастлив и беспомощен — потому-то она и любит его, безо всякой романтики, конечно, совсем не так, как того кудрявого негодяя, который пятнадцать лет назад лишил ее покоя, а потом женился на дочери богатого подрядчика, но любит тем не менее искренне, крепко, покровительственно и нежно.

— Ладно, — наконец соглашается она. — Я пойду. Но обещайте, что вы недолго.

— Конечно, недолго.

Она поворачивается и уходит. Доктор Пул смотрит ей вслед, затем, оставшись один и облегченно вздохнув, снова принимается копать.

###### Рассказчик

«Никогда, — повторяет он про себя, — никогда! И пусть мать говорит что угодно». Он уважает мисс Хук как ботаника, полагается на нее как на организатора и восхищается ею как особой возвышенной, тем не менее мысль о том, чтобы стать с нею плотью единой, так же невозможна для него, как, скажем, попрание категорического императива.

Внезапно сзади, из развалин домика, преспокойно выходят трое мужчин злодейской наружности — чернобородых, грязных и оборванных; несколько секунд они стоят неподвижно, а потом набрасываются на ничего не подозревающего ботаника и, прежде чем тот успевает вскрикнуть, заталкивают ему в рот кляп, связывают руки за спиной и утаскивают в лощину, подальше от глаз его спутников.

Наплыв: панорама южной Калифорнии с пятидесятимильной высоты, из стратосферы. Камера приближается к земле; слышен голос Рассказчика.

###### Рассказчик

Над морем облака и тускло-золотые горы,

Долины в черно-синей тьме,

Сушь рыжих, словно львы, равнин,

Речная галька, белизна песка,

И Город Ангелов посередине.

Полмиллиона всяческих строений,

Пять тысяч миль проспектов, улиц,

Автомобилей полтора мильона,

И больше, чем везде: чем в Акроне —

резиновых изделий,

Чем у Советов — целлюлозы,

Чем у Нью-Рошелле — всякого нейлона,

Чем в Буффало — бюстгальтеров,

Чем в Денвере — дезодорантов,

Чем где угодно — апельсинов,

Там девушки и выше, и красивей —

На Западе, в Великой Мерзополии.

Теперь камера уже всего в пяти милях от земли, и нам становится все яснее, что Великая Мерзополия теперь лишь тень города, что один из крупнейших в мире оазисов превратился в грандиозное скопление руин среди полного запустения. На улицах ничто не шелохнется. На бетоне выросли песчаные дюны. Бульваров, обсаженных пальмами и перечными деревьями, нет и в помине.

Камера опускается к большому прямоугольному кладбищу, лежащему между железобетонными башнями Голливуда и Уилширского бульвара. Мы приземляемся, проходим под сводчатыми воротами; камера движется между надгробными памятниками. Миниатюрная пирамида. Готическая караульная будка. Мраморный саркофаг, поддерживаемый плачущими серафимами. Статуя Гедды Бодди больше натуральной величины. «Всеми признанная, — гласит надпись на пьедестале, — любимица публики номер один. „Впряги звезду в свою колесницу“». Мы впрягаем и движемся дальше, как вдруг среди этого запустения видим группку людей. Она состоит из четырех мужчин, заросших густыми бородами и довольно-таки грязных, и двух молодых женщин; все они возятся с лопатами — кто внутри открытой могилы, кто рядом, все одеты в одинаково ветхие домотканые рубахи и штаны. Поверх этих непритязательных одежд на каждом надет небольшой квадратный фартук, на котором алой шерстью вышито слово «нет». Кроме того, у девушек на рубахах, на каждой груди, нашито по круглой заплате с такой же надписью, а сзади, на штанах, две заплаты побольше — на каждой ягодице. Таким образом, три недвусмысленных отказа встречают нас, когда девушки приближаются, и еще два — на манер парфянских стрел, — когда удаляются.

На крыше ближайшего мавзолея, наблюдая за работающими, сидит мужчина, которому уже перевалило за сорок; он высок, крепок, темноглаз и горбонос, словно алжирский пират. Вьющаяся черная борода оттеняет его влажные, красные и полные губы. Одет он несколько несообразно: в немного узкий для него светло-серый костюм покроя середины двадцатого века. Когда мы видим мужчину в первый раз, он сосредоточенно стрижет ногти.

В кадре снова могильщики. Один из них, самый молодой и красивый, поднимает голову, исподтишка бросает взгляд на сидящего на крыше надсмотрщика и, увидев, что тот занят ногтями, с вожделением смотрит на пухленькую девушку, которая налегает на лопату рядом с ним. Крупный план: две запрещающие заплаты «нет» и еще одно «нет» становятся тем больше, чем с большей жадностью он смотрит. Предвкушая восхитительное прикосновение, он делает ладонь чашечкой и для пробы нерешительно протягивает руку, но тут же, внезапно поборов искушение, резко ее отдергивает. Закусив губу, молодой человек отворачивается и с удвоенным рвением вновь принимается копать.

Вдруг одна из лопат ударяется обо что-то твердое. Слышится радостный крик, и работа закипела. Через несколько минут наверх поднимается красивый гроб красного дерева.

— Ломайте.

— Хорошо, вождь.

Раздаются скрип и треск ломающегося дерева.

— Мужчина или женщина?

— Мужчина.

— Прекрасно! Вываливайте.

С криками «раз-два, взяли!» работники переворачивают гроб; труп вываливается на землю. Старший из бородатых могильщиков становится рядом с ним на колени и начинает методично снимать с тела часы и драгоценности.

###### Рассказчик

Благодаря искусству бальзамировщика и сухому климату останки директора пивоваренной корпорации «Золотое правило» выглядят так, словно их предали земле только вчера. Щеки директора, нарумяненные специалистом из похоронного бюро, все еще младенчески розовы. Уголки губ, подтянутые вверх для создания вечной улыбки, придают круглому, блинообразному лицу приводящее в бешенство загадочное выражение мадонны Бельтраффио.

Внезапно на плечи стоящего на коленях могильщика обрушивается удар арапника. Камера отъезжает, и мы видим вождя: в грозной позе, с плетью в руке, он стоит на своей мраморной горе Синайской, словно воплощение божественного отмщения.

— Отдай кольцо!

— Какое кольцо? — заикаясь, спрашивает могильщик. Вместо ответа вождь наносит ему еще несколько ударов.

— Не надо! Ох, не надо! Я отдам, отдам! Не надо!

Преступник засовывает два пальца за щеку и несколько неуклюже выуживает оттуда красивое бриллиантовое кольцо, которое покойный пивовар купил себе во время Второй мировой войны, когда дела шли так замечательно.

— Положи туда, вместе с другими вещами, — приказывает вождь и, после того как приказ выполнен, с мрачным удовольствием добавляет: — Двадцать пять плетей — вот что ты получишь сегодня вечером.

Громко стеная, могильщик молит о снисхождении — только на этот раз. Учитывая, что завтра Велиалов день... К тому же он стар, он честно трудился всю жизнь, дослужился до помощника надзирателя...

— Такова демократия, — обрывает его вождь. — Перед законом все мы равны. А закон гласит: все принадлежит пролетариату, иными словами, государству. А какое наказание ждет того, кто ограбил государство? — В безмолвном горе гробовщик вскидывает на него взгляд. — Так какое? — занося плеть, рявкает вождь.

— Двадцать пять плетей, — слышится почти беззвучный ответ.

— Правильно! С этим мы разобрались, не так ли? А теперь посмотрим, как там у него с одеждой.

Та из девушек, что помоложе и постройнее, наклоняется и ощупывает черный двубортный пиджак трупа.

— Вещь неплохая, — говорит она. — И никаких пятен. Из него ничего не вытекло.

— Я примерю, — решает вождь.

Не без труда могильщики снимают с покойника брюки, пиджак и рубашку, после чего сбрасывают оставшееся в нижнем белье тело обратно в могилу и засыпают его землей. Тем временем вождь берет одежду, критически хмыкает, затем скидывает жемчужно-серый пиджак, принадлежавший когда-то начальнику производства «Западно-шекспировской киностудии», и всовывает руки в более консервативное одеяние, хорошо сочетавшееся с портретом и «Золотым правилом».

###### Рассказчик

Поставьте себя на его место. Быть может, вы не знаете, что хорошая чесальная машина состоит из барабана и двух подающих валиков, а также разнообразных игольчатых и чистильных валиков, курьерчиков, приемных барабанов и тому подобного. А если у вас нет чесальных машин или механических ткацких станков, если у вас нет электродвигателей, чтобы приводить их в движение, нет динамо-машин, чтобы вырабатывать электричество, нет угля, чтобы поднимать пар, нет печей, чтобы плавить сталь, — что ж, в этом случае, чтобы иметь приличную одежду, вам, очевидно, остается рассчитывать на кладбища, где зарыты те, кто пользовался всеми этими благами. Но пока повсюду наблюдалась высокая радиация, даже кладбищами нельзя было пользоваться. В течение трех поколений жалкие остатки человечества, пережившие заключительную фазу технического прогресса, кое-как перебивались в полном одичании. Только в последние тридцать лет они смогли без опасений пользоваться погребенными остатками du confort moderne[[14]](#footnote-14).

Крупный план: нелепая фигура вождя, одетого в пиджак человека, чьи руки были гораздо короче, а живот гораздо толще, чем у него. На звук шагов вождь оборачивается. В кадре, снятом дальним планом с места вождя, мы видим, как доктор Пул со связанными за спиной руками устало бредет по песку. За ним движутся три его стража. Стоит ему споткнуться или замедлить шаг, как они тычут его в зад покрытыми иголками листьями юкки и громко хохочут, когда он вздрагивает.

В молчаливом изумлении вождь следит за их приближением.

— Во имя Велиала, что это? — наконец осведомляется он.

Группка останавливается у подножия мавзолея. Три стража кланяются вождю и начинают рассказывать. На своей лодчонке они ловили рыбу у Редондо-Бич, как вдруг увидели выплывающий из тумана огромный, странный корабль; они тут же подгребли к берегу, чтобы их не заметили. Из развалин старого дома они наблюдали, как чужаки высадились на берег. Тринадцать человек. А потом этот мужчина и с ним женщина добрели до самого порога их убежища. Женщина ушла, а когда мужчина стал рыться маленькой лопаткой в грязи, они набросились на него сзади, сунули в рот кляп, связали и вот привели для допроса.

Следует долгое молчание; наконец вождь спрашивает:

— По-английски говоришь?

— Говорю, — запинаясь, отвечает доктор Пул.

— Хорошо. Развяжите и поднимите его сюда.

Стражи поднимают доктора Пула, да так бесцеремонно, что он приземляется у ног вождя на четвереньки.

— Ты священник?

— Священник? — с тревожным удивлением переспрашивает доктор Пул и отрицательно качает головой.

— Тогда почему у тебя нет бороды?

— Я... я бреюсь.

— Так, значит, ты не... — вождь проводит пальцем по щеке и подбородку доктора Пула. — Понятно, понятно. Встань.

Доктор Пул повинуется.

— Откуда ты?

— Из Новой Зеландии, сэр.

Доктор Пул с трудом сглатывает; ему хотелось бы, чтобы во рту не было так сухо, а голос не дрожал так от ужаса.

— Из Новой Зеландии? Это далеко?

— Очень.

— Ты приплыл на большом корабле? Парусном?

Доктор Пул кивает и в менторской манере, к которой всегда прибегает, когда общение грозит сделаться затруднительным, принимается объяснять, почему они не смогли пересечь Тихий океан на пароходе.

— Нам негде было бы пополнять запасы топлива. Наши судоходные компании используют пароходы только в каботажном плавании.

— Пароходы? — повторяет вождь, и на лице у него появляется интерес. — У вас все еще есть пароходы? Но значит, у вас не было Этого?

Доктор Пул озадачен.

— Я не совсем уловил, — говорит он. — Чего этого?

— Этого. Ну, знаете, когда Он одержал верх.

Подняв руки ко лбу, надсмотрщик с помощью указательных пальцев изображает рожки. Подчиненные преданно следуют его примеру.

— Вы имеете в виду дьявола? — с сомнением в голосе осведомляется доктор Пул.

Собеседник кивает.

— Но ведь... То есть я хочу сказать...

###### Рассказчик

Наш друг — праведный конгрегационалист, но, увы, либерал. А это значит, что он никогда не отдавал Князю мира сего онтологически ему должного. Проще говоря, доктор Пул в Него не верит.

— Да, Он пришел к власти, — объясняет вождь. — Выиграл битву и овладел всеми. Это случилось в день, когда люди совершили все это.

Широким всеобъемлющим жестом он обводит запустение, бывшее когда-то Лос-Анджелесом. Лицо доктора Пула проясняется: он понял.

— Ясно, вы имеете в виду третью мировую войну. Нет, нам посчастливилось: мы вышли сухими из воды. Благодаря своеобразному географическому положению, — тем же менторским тоном добавляет он, — Новая Зеландия не имела стратегического значения для...

Эту многообещающую лекцию вождь обрывает вопросом:

— Значит, у вас остались поезда?

— Да, поезда у нас остались, — несколько раздраженно отвечает доктор Пул. — Но, как я говорил...

— И паровозы в самом деле работают?

— Конечно, работают. Как я говорил...

К изумлению доктора Пула, вождь издает восторженный вопль и хлопает его по плечу.

— Тогда ты можешь помочь нам снова все это наладить. Как в добрые старые дни... — Он делает пальцами рожки. — У нас будут поезда, настоящие поезда! — В порыве восторженного предвкушения вождь притягивает к себе доктора Пула, обнимает его и целует в обе щеки. Съежившись от неловкости, которая усугубляется еще и отвращением (великий человек моется редко, к тому же изо рта у него пахнет крайне скверно), доктор Пул высвобождается.

— Но я не инженер, — протестует он. — Я ботаник.

— А что это?

— Ботаник — это человек, который знает все про строение и механизмы...

— Заводов? — с надеждой спрашивает вождь.

— Нет, я не договорил — про строение и механизмы жизнедеятельности растений. Ну, которые с листьями, стеблями и цветками, хотя, — поспешно добавляет доктор Пул, — не следует забывать и о тайнобрачных. Честно говоря, тайнобрачные — мои любимцы. Как вам, наверно, известно, Новая Зеландия особенно богата тайнобрачными...

— Да, но как же с паровозами?

— С паровозами? — презрительно переспрашивает доктор Пул. — Говорю же вам, я не отличу паровой турбины от дизеля.

— Значит, ты не можешь помочь нам снова пустить поезда?

— Исключено.

Не говоря ни слова, вождь поднимает правую ногу, упирает ее доктору Пулу в низ живота и резко распрямляет колено.

Крупный план: доктор Пул, потрясенный, весь в царапинах, однако невредимый поднимается с кучи песка, на которую упал. За кадром слышен голос вождя, зовущего людей, которые взяли доктора Пула в плен.

Средний план: могильщики и рыбаки бегут на его зов.

Вождь указывает на доктора Пула.

— Заройте его.

— Живьем или мертвого? — глубоким контральто осведомляется толстушка.

Вождь смотрит на нее — кадр снят с места, где он стоит. Пересилив себя, вождь отворачивается. Губы его шевелятся. Он повторяет соответствующий отрывок из краткого катехизиса: «В чем сущность женщины? Ответ: женщина — сосуд Нечистого, источник всех уродств, враг человечества и...»

— Живьем или мертвого? — повторяет толстушка. Вождь пожимает плечами.

— Как хотите, — с деланым безразличием отвечает он.

Толстушка принимается хлопать в ладоши.

— Вот здорово! — восклицает она и поворачивается к остальным: — Пошли, ребята, позабавимся.

Они обступают доктора Пула, поднимают его, вопящего благим матом, с земли и опускают ногами вперед в полузасыпанную могилу директора пивоваренной корпорации «Золотое правило». Толстушка придерживает доктора, а мужчины начинают сбрасывать сухую землю в могилу. Вскоре он зарыт уже по пояс.

На звуковой дорожке крики жертвы и возбужденный смех палачей понемногу стихают; тишину нарушает голос Рассказчика.

###### Рассказчик

Жестокость, сострадание — лишь гены.

Все люди милосердны, все убийцы.

Собачек гладят и Дахау строят,

Сжигают города и пестуют сирот,

Все против линчеванья, но за Ок-Ридж.

Все филантропии полны — потом,

а вот НКВД — сейчас.

Кого травить мы станем, а кого жалеть?

Тут дело лишь в сиюминутных нормах,

В словах на целлюлозе и в радиокрике,

В причастности — иль к яслям коммунистов,

иль к первому причастию,

И лишь в познанье сущности своей

Любой из нас перестает быть обезьяной.

###### \* \* \*

На звуковой дорожке — опять смех вперемешку с мольбами о пощаде. Внезапно раздается голос вождя:

— Отойдите! Мне не видно.

Могильщики повинуются. В наступившем молчании вождь смотрит вниз, на доктора Пула.

— Ты разбираешься в растениях, — наконец говорит он. — Почему б тебе не выпустить там корешки?

Слушатели одобрительно гогочут.

— Что же ты не расцветаешь хорошенькими розовыми цветочками?

Крупный план: страдальческое лицо доктора Пула.

— Пощадите, пощадите...

Его голос забавно срывается; новый взрыв веселья.

— Я могу быть вам полезен. Могу научить, как получать хорошие урожаи. У вас будет больше еды.

— Больше еды? — с внезапным интересом переспрашивает вождь, потом свирепо хмурится: — Врешь!

— Нет, клянусь всемогущим Господом!

Слышен возмущенный, протестующий ропот.

— Может, в Новой Зеландии он и всемогущ, — отчеканивает вождь, — но не здесь — с тех пор как случилось Это.

— Но я же в самом деле могу вам помочь.

— Ты готов поклясться именем Велиала?

Отец доктора Пула был священнослужителем, да и сам он регулярно посещает церковь, однако сейчас он горячо и прочувственно клянется:

— Клянусь Велиалом. Клянусь именем всемогущего Велиала.

Все присутствующие делают пальцами рожки. Долгое молчание.

— Выкапывайте.

— Но, вождь, это же нечестно! — протестует толстушка.

— Выкапывай, сосуд греха!

Тон вождя настолько убедителен, что все начинают яростно копать, и не проходит и минуты, как доктор Пул вылезает из могилы и, покачиваясь, останавливается у подножия мавзолея.

— Благодарю, — с трудом выдавливает он; колени его подгибаются, и ботаник теряет сознание.

Слышен всеобщий презрительно-добродушный смех.

Наклонившись со своего мраморного постамента, вождь протягивает девушке бутылку:

— Эй ты, рыжий сосуд! Дай-ка ему хлебнуть вот этого, — приказывает он. — Он должен очнуться и встать на ноги. Мы возвращаемся в центр.

Девушка присаживается на корточки рядом с доктором Пулом, приподнимает безжизненное тело, опирает болтающуюся голову доктора о запреты на своей груди и вливает в него укрепляющее.

Наплыв: улица, четверо бородачей несут вождя на носилках. Остальные, увязая ногами в песке, плетутся сзади. Тут и там, под навесами разрушенных заправочных станций, в зияющих дверных проемах учреждений, видны груды человеческих костей.

Средний план: доктор Пул, держа в правой руке бутылку, движется нетвердой походкой и с большим чувством напевает «Энни Лори». Он выпил на пустой желудок — а ведь желудок этот принадлежит человеку, чья мать всегда была ревностной поборницей трезвости, — и крепкое красное вино подействовало быстро.

За красотку Энни Лори

Я и жизнь свою отдам...

В конце заключительной фразы в кадре появляются две девушки-могильщицы. Подойдя сзади к певцу, толстушка дружески хлопает его по спине. Доктор Пул вздрагивает, оборачивается, и на лице его внезапно появляется тревога. Однако улыбка девушки успокаивает его.

— Я Флосси, — сообщает она. — Надеюсь, ты не держишь на меня зла за то, что я хотела тебя зарыть?

— О нет, нисколько, — уверяет доктор Пул тоном человека, который говорит девушке, что не возражает, если она закурит.

— Я ведь ничего против тебя не имею, — уверяет Флосси.

— Разумеется.

— Просто захотелось посмеяться, вот и все.

— Конечно, конечно.

— Люди ужасно смешные, когда их зарывают в землю.

— Ужасно, — соглашается доктор Пул и выдавливает из себя нервный смешок. Почувствовав, что ему недостает смелости, он подбадривает себя глотком из бутылки.

— Ну, до свидания, — прощается толстушка. — Мне нужно сходить поговорить с вождем насчет надставки рукавов на его новом пиджаке.

Она снова хлопает доктора Пула по спине и убегает.

Доктор остается с ее подругой. Украдкой бросает на нее взгляд. Ей лет восемнадцать, у нее рыжие волосы, ямочки на щеках и юное стройное тело.

— Меня зовут Лула, — начинает она. — А тебя?

— Алфред, — отвечает доктор Пул. — Моя мать — большая поклонница «In Memoriam», — поясняет он.

— Алфред, — повторяет рыжеволосая. — Я буду звать тебя Алфи. Вот что я скажу тебе, Алфи: не очень-то мне нравятся эти публичные погребения. Не знаю, чем я отличаюсь от других, но мне не смешно. Не вижу в них ничего забавного.

— Рад слышать, — отвечает доктор Пул.

— Знаешь, Алфи, ты и в самом деле счастливчик, — после короткого молчания заключает она.

— Счастливчик?

Лула кивает:

— Во-первых, тебя вырыли, такого мне видеть не приходилось; во-вторых, ты попал прямо на обряды очищения.

— Обряды очищения?

— Да, завтра ведь Велиалов день. Велиалов день, — повторяет она, заметив на лице собеседника недоумение. — Только не говори мне, будто не знаешь, что происходит в канун Велиалова дня.

Доктор Пул отрицательно качает головой.

— Но когда же у *вас* происходит очищение?

— Ну, мы каждый день принимаем ванну, — объясняет доктор Пул, который успел еще раз убедиться, что Лула этого явно не делает.

— Да нет, — нетерпеливо перебивает она. — Я имею в виду очищение расы.

— Расы?

— Да разве же, черт побери, ваши священники оставляют в живых младенцев-уродов?

Молчание. Через несколько секунд доктор Пул задает встречный вопрос:

— А что, здесь рождается много уродов?

Лула кивает.

— С тех пор как случилось Это, когда Он пришел к власти, — она делает рожки. — Говорят, раньше такого не было.

— Кто-нибудь рассказывал тебе о воздействии гамма-излучения?

— Гамма-излучения? Что это?

— Из-за него-то у вас и рождаются уроды.

— Ты что, хочешь сказать, что дело тут не в Велиале? — В ее голосе звучит негодование и подозрительность; она смотрит на доктора Пула, как святой Доминик на еретика-альбигойца.

— Нет, конечно же, нет, — спешит успокоить девушку доктор Пул. — Он первопричина, это само собой. — Ботаник неумело и неуклюже показывает рожки. — Я просто имею в виду природу вторичной причины — средство, которое Он использовал, чтобы осуществить свой провиденциальный замысел, — понимаешь, что я хочу сказать?

Его слова и скорее даже благочестивый жест рассеивают подозрения Лулы. Лицо ее проясняется, и она одаривает доктора Пула очаровательнейшей улыбкой. Ямочки на ее щеках приходят в движение, словно пара прелестных крошечных существ, ведущих свою, тайную жизнь независимо от остального лица. Доктор Пул улыбается ей в ответ, но тотчас же отводит глаза, краснея при этом до корней волос.

###### Рассказчик

Из-за безмерного уважения к матери наш бедный друг в свои тридцать восемь лет все еще холост. Он преисполнен неестественного почтения к браку и вот уже полжизни сгорает на тайном огне. Полагая, что предложить какой-нибудь добродетельной молодой леди разделить с ним постель — это кощунство, он под панцирем академической респектабельности скрывает мир страстей, в котором за эротическими фантазиями следует мучительное раскаяние, а юношеские желания непрерывно борются с материнскими наставлениями. А здесь перед ним Лула — девушка без малейших претензий на образованность или воспитанность, Лула au naturel[[15]](#footnote-15), пахнущая мускусом, что, если вдуматься, тоже имеет свою прелесть. Что ж тут удивительного, если он краснеет и (против воли, так как ему хочется смотреть на нее) отводит глаза.

В порядке утешения и в надежде набраться смелости доктор Пул снова прибегает к бутылке. Внезапно улица сужается и превращается в тропинку между песчаными дюнами.

— После вас, — учтиво поклонившись, говорит доктор Пул.

Девушка улыбается, принимая любезность, к которой здесь, где мужчины шествуют впереди, а сосуды Нечистого следуют за ними, она совершенно не привыкла.

В кадре зад Лулы, наблюдаемый глазами идущего следом доктора Пула. «Нет-нет, нет-нет, нет-нет», — мелькает в ритме шагов. Крупным планом доктор Пул, глаза ботаника широко раскрыты; с его лица камера вновь переходит на Лулин зад.

###### Рассказчик

Это символ, зримый, осязаемый символ его сознания. Принципы, находящиеся в разладе с вожделением, его мать и седьмая заповедь, наложенные на его фантазии, и жизнь, как она есть.

Дюны становятся ниже. Дорога снова достаточно широка, чтобы идти рядом. Доктор Пул украдкой бросает взгляд на лицо спутницы и видит, что оно погрустнело.

— В чем дело? — заботливо спрашивает он, с невероятной смелостью добавляет: — Лула, — и берет ее за руку.

— Ужасно, — в тихом отчаянии роняет она.

— Что ужасно?

— Все. Не хочется думать обо всем этом, но раз уж не повезло, то от этих мыслей не отвяжешься. Разве только с ума не сходишь. Думаешь и думаешь о ком-то, хочешь и хочешь. А знаешь, что нельзя. И боишься до смерти того, что с тобой могут сделать, если проведают. Можно отдать все на свете за пять минут — пять минут свободы. Но нет, нет, нет. И ты сжимаешь кулаки и держишься — кажется, вот-вот разорвешься на части. А потом вдруг, после всех этих мучений, вдруг... — Она замолкает.

— Что вдруг? — спрашивает доктор Пул.

Она бросает на него быстрый взгляд, однако видит на лице собеседника лишь совершенно невинное непонимание.

— Никак я тебя не раскушу. Ты сказал правду вождю? Ну, насчет того, что ты не священник, — наконец отвечает она и вся вспыхивает.

— Если ты мне не веришь, — с пьяной галантностью отвечает доктор Пул, — я готов доказать.

Несколько секунд Лула смотрит на него, потом встряхивает головой и в каком-то ужасе отворачивается. Ее пальцы нервно разглаживают фартук.

— А все же, — продолжает он, ободренный ее внезапной застенчивостью, — ты так и не сказала, что же такое вдруг происходит.

Лула оглядывается — не слышит ли кто, — потом почти шепчет:

— Вдруг Он начинает овладевать всеми. Он заставляет всех думать об этих вещах по целым неделям, а это ведь против закона, это дурно. Мужчины безумеют до того, что начинают распускать руки и называют тебя сосудом, словно священники.

— Сосудом?

— Сосудом Нечистого, — кивает девушка.

— А, понимаю.

— А потом наступает Велиалов день, — помолчав, продолжает она. — И тогда... Ну, ты сам знаешь, что это означает. А потом, если ребенок получится, Он способен покарать тебя за то, что сам же заставил совершить. — Она вздрагивает и делает рожки. — Я знаю, мы должны принимать любую Его волю, но я так надеюсь, что если когда-нибудь рожу ребенка, то с ним будет все в порядке.

— Ну конечно, все будет в порядке, — восклицает доктор Пул. — Ведь у тебя же все в порядке.

Восхищенный собственной дерзостью, он смотрит на нее.

В кадре — крупным планом то, на что он смотрит: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет...»

Лула печально качает головой:

— Вот тут ты не прав. У меня лишняя пара сосков.

— Ох! — произносит доктор Пул таким тоном, что сразу становится ясно: мысль о матери мгновенно свела на нет воздействие красного вина.

— В этом нет ничего особенно плохого, — поспешно добавляет Лула. — Они бывают даже у лучших людей. Это совершенно законно. Можно иметь и три пары сосков. И по семь пальцев на руках и ногах. А вот все, что свыше этого, должно быть уничтожено при очищении. Взять мою подружку Полли — она недавно родила. Первенца. У него четыре пары сосков, а на руках нет больших пальцев. Вот ей надеяться не на что. Малыш, считай, уже приговорен. А ей побрили голову.

— Побрили голову?

— Так поступают со всеми женщинами, чьих детей уничтожают.

— Но зачем?

— Просто чтобы напомнить им, что Он враг, — пожимает плечами Лула.

###### Рассказчик

«Если говорить прямо, — сказал как-то Шредингер, — хотя, быть может, и несколько упрощенно, губительность брака между двоюродными братом и сестрой может быть усугублена тем, что их бабка долгое время работала в рентгеновском кабинете. Этот вопрос не должен никого тревожить лично. Но любая возможность постепенного вырождения рода человеческого из-за нежелательных скрытых мутаций должна быть предметом забот всего мирового сообщества». Должна быть, но — об этом можно и не упоминать — таковой не является. Ок-Ридж работает в три смены, в Камберленде строится атомная электростанция, а по ту сторону занавеса — бог его знает, что там строит Капица на горе Арарат, какие сюрпризы эта чудная русская душа, о которой так поэтично писал Достоевский, готовит для русских тел и туш капиталистов и социал-демократов.

Песок снова мешает идти. Доктор Пул и Лула опять движутся по тропинке, змеящейся меж дюнами, и внезапно остаются одни, словно посреди Сахары.

В кадре то, что представляется взору доктора Пула: нет-нет, нет-нет... Лула останавливается и поворачивается к нему: нет, нет, нет. Камера переходит на ее лицо, и он замечает на нем трагическое выражение.

###### Рассказчик

Седьмая заповедь, жизнь, как она есть. Но есть еще один факт, на который нельзя реагировать простым узковедомственным отрицанием вожделения или периодическими взрывами похоти; этот факт — личность.

— Я не хочу, чтобы меня постригли, — срывающимся голосом говорит Лула.

— Но этого не сделают.

— Сделают.

— Это невозможно, этого не должно быть... — И, удивленный собственной смелостью, доктор Пул добавляет: — Такие прекрасные волосы.

Все с тем же трагическим видом Лула качает головой.

— Я чувствую, — говорит она, — нутром чувствую. Я просто знаю: у него будет больше семи пальцев. Они убьют его, обрежут мне волосы, накажут плетьми, а ведь Он сам заставляет нас делать это.

— Что «это»?

Несколько секунд она молча смотрит на него, потом с выражением ужаса на лице опускает глаза.

— А все потому, что Он хочет, чтобы мы были несчастны.

Спрятав лицо в ладони, Лула безудержно рыдает.

###### Рассказчик

Вино внутри, а тут напоминает мускус

О близких, теплых, зрелых и округлых — разве

Что несъедобных фактах... А она все плачет...

Доктор Пул обнимает девушку; она рыдает у него на плече, а он гладит ее волосы с нежностью нормального мужчины, каким мгновенно стал наш ботаник.

— Не плачь, — шепчет он, — не плачь. Все будет хорошо. Я буду с тобой. Я не позволю ничего с тобой сделать.

Постепенно она дает себя утешить. Рыдания становятся не такими отчаянными и мало-помалу стихают. Лула поднимает глаза; несмотря на слезы, ее улыбка настолько недвусмысленна, что всякий на месте доктора Пула незамедлительно воспользовался бы таким приглашением. Он колеблется, и, по мере того как проходят секунды, выражение ее лица меняется, она опускает ресницы, уже стыдясь признания, которое вдруг показалось ей слишком откровенным, и отворачивается.

— Извини, — шепчет она и принимается смахивать слезы грязными, словно у ребенка, костяшками пальцев.

Доктор Пул достает платок и ласково вытирает ей глаза.

— Ты такой милый, — говорит она. — Совсем не похож на здешних мужчин.

Она снова улыбается ему. На щеках у нее, словно пара очаровательных зверьков, выбирающихся из норки, появляются ямочки.

Доктор Пул — настолько порывисто, что даже не успевает удивиться своему поступку, — берет в ладони лицо девушки и целует ее в губы.

Несколько секунд Лула сопротивляется, но потом сдается до такой степени безоговорочно, что ее капитуляция выглядит гораздо более решительной, нежели его штурм.

На звуковой дорожке «Хочу детумесценции» переходит в «Liebestod»[[16]](#footnote-16) из «Тристана».

Внезапно Лула вздрагивает и словно коченеет. Оттолкнув доктора Пула, она бросает на него дикий взгляд, затем отворачивается и смотрит через плечо с выражением вины и ужаса.

— Лула!

Он пробует привлечь ее к себе, но она вырывается и убегает по узкой тропинке.

«Нет-нет, нет-нет, нет-нет...»

Наплыв: угол Пятой улицы и Першинг-сквер. Как и прежде, Першинг-сквер — основа и средоточие культурной жизни города. Из неглубокого колодца перед зданием филармонии две женщины достают бурдюками воду и переливают ее в глиняные кувшины, которые уносят другие женщины. На перекладине, перекинутой между двумя ржавыми фонарными столбами, висит туша только что забитого быка. Рядом в туче мух стоит мужчина и ножом вычищает внутренности.

— Неплохо выглядит, — добродушно говорит вождь.

Мясник ухмыляется и окровавленными пальцами делает рожки.

Несколькими ярдами далее расположены общинные печи. Вождь приказывает остановиться и милостиво принимает ломоть свежеиспеченного хлеба. Пока он ест, в кадре появляется около десятка мальчиков, пошатывающихся под тяжестью чрезмерного для них груза топлива из расположенной поблизости Публичной библиотеки. Они сваливают ношу на землю и, подгоняемые пинками и руганью взрослых, спешат за новой порцией. Один из пекарей отворяет дверцу топки и лопатой бросает книги в огонь.

Доктор Пул как ученый и библиофил возмущается и протестует:

— Но это же ужасно!

Вождь только посмеивается.

— Туда — «Феноменология духа», оттуда — хлеб. И притом чертовски вкусный.

Вождь откусывает еще ломоть. Тем временем доктор Пул нагибается и буквально выхватывает из пламени чудесный томик Шелли в одну двенадцатую листа.

— Слава б... — начинает он, но, вспомнив, по счастью, где находится, вовремя спохватывается. Засунув томик в карман, он обращается к вождю: — Но как же культура? Как же всеобщее наследие, как же человеческая мудрость, доставшаяся с таким трудом? Как же все то лучшее, о чем думали...

— Они не умеют читать, — с набитым ртом отвечает вождь. — Впрочем, это не совсем так. Мы учим их всех читать вот это.

Он указывает пальцем. Средний план, снятый с его точки: Лула с ямочками и всем прочим, но при этом с крупным «нет» на фартуке и двумя «нет» поменьше на груди.

— Вот все, что им нужно уметь прочесть. А теперь вперед, — приказывает он носильщикам.

В кадре носилки, которые протаскивают через дверной проем в то, что осталось от бывшей кофейни Билтмора. Здесь, в зловонном полумраке, два-три десятка женщин средних лет, молоденьких и просто девочек деловито ткут на примитивных станках вроде тех, какими пользуются индейцы Центральной Америки.

— Ни у одного из этих сосудов в последний раз детей не было, — объясняет вождь доктору Пулу. Потом хмурится и качает головой: — Они или производят на свет чудовищ, или бесплодны. Одному Велиалу ведомо, откуда нам брать рабочую силу.

Они движутся в глубь кофейни, минуют группу трех-четырехлетних детишек, за которыми присматривает пожилой сосуд с волчьей пастью и четырнадцатью пальцами на руках, и входят во второй зал, чуть меньше первого.

За кадром слышен хор юных голосов, декламирующих в унисон первые фразы краткого Катехизиса.

— Вопрос: какова главная цель человека? Ответ: главная цель человека — умилостивить Велиала, мольбою отвратить Его злобу и как можно дольше избегать умерщвления.

Крупным планом лицо доктора Пула, на котором удивление постепенно сменяется ужасом. Затем дальний план с точки, где он стоит. Выстроившись в пять рядов по двенадцать человек в каждом, шестьдесят мальчиков и девочек тринадцати-пятнадцати лет застыли по стойке смирно и монотонно бубнят резкими визгливыми голосами. Лицом к ним на помосте сидит жирный человечек в длинном одеянии из черных и белых козлиных шкур и меховой шапке с жесткой кожаной оторочкой, к которой прикреплены средних размеров рожки. Его безбородое желтоватое лицо лоснится от обильного пота, который он беспрестанно утирает мохнатым рукавом своей рясы.

В кадре снова вождь; он наклоняется, трогает доктора Пула за плечо и шепчет:

— Это наш ведущий знаток сатанинских наук. Говорю тебе, что касается зловредного животного магнетизма, тут он просто мастер.

За кадром бессмысленно тараторят дети:

— Вопрос: на какую участь осужден человек? Ответ: Велиал для своего удовольствия из всех насельников земли выбрал лишь ныне живущих, чтоб осудить их на вечные муки.

— А почему у него рога? — осведомляется доктор Пул.

— Он — архимандрит, — поясняет вождь. — Его должны вот-вот пожаловать третьим рогом.

Средний план: помост.

— Прекрасно, — произносит знаток сатанинских наук тонким визгливым голосом, похожим на голос невероятно самодовольного ребенка. — Прекрасно! — Он утирает лоб. — А теперь скажите, почему вы осуждены на вечные муки?

Короткое молчание. Потом, сперва вразнобой, затем громко и отчетливо, дети отвечают:

— Велиал развратил и растлил нас во всем нашем бытии. За этот разврат мы и осуждены Велиалом по заслугам.

Учитель одобрительно кивает и елейно скрипит:

— Такова непостижимая справедливость Повелителя Мух.

— Аминь, — отзываются дети и делают рожки.

— А как насчет вашего долга по отношению к ближнему?

— Мой долг по отношению к ближнему, — звучит хор, — прикладывать все усилия, чтобы не дать ему сделать со мною то, что я сам хотел бы сделать с ним; повиноваться всем моим господам; всегда держать свое тело в целомудрии, исключая две недели после Велиалова дня, и исполнять свой долг в том звании, на которое Велиал соизволил меня обречь.

— Что есть церковь?

— Церковь — это тело, Велиал — его голова, а все одержимые — его члены.

— Очень хорошо, — снова утирая пот с лица, говорит наставник. — А теперь мне нужен юный сосуд.

Пробежав взглядом по рядам учеников, он указывает пальцем:

— Ты. Третий слева во втором ряду. Светловолосый сосуд. Подойди.

В кадре снова группа людей с носилками. В предвкушении развлечения носильщики ухмыляются, и даже полные губы вождя — очень красные и влажные на фоне черных завитков усов и бороды — расплываются в улыбке. Но Лула не улыбается. Она побледнела, прижала ладони ко рту и широко раскрытыми глазами наблюдает за происходящим с ужасом человека, которому уже доводилось проходить через подобное испытание. Доктор Пул смотрит на нее, потом на жертву; в кадре, снятом с его точки, мы видим, как девочка медленно приближается к помосту.

— Ближе, — повелительно скрипит детский голос. — Стань рядом со мной. А теперь повернись к классу.

Девочка повинуется.

Средний план: высокая, стройная девочка лет пятнадцати с лицом скандинавской мадонны. «Нет», — провозглашает фартук, подвязанный к поясу ее измятых шорт. «Нет, нет», — гласят заплаты на ее юных грудях.

Наставник осуждающе указывает на нее пальцем.

— Посмотрите, — сморщив лицо в гримасу отвращения, говорит он. — Видели вы что-либо столь же отталкивающее?

Он поворачивается к классу и скрипит:

— Мальчики, те из вас, кто ощущает зловредный животный магнетизм, исходящий из этого сосуда, поднимите руки.

Класс, снятый дальним планом. Все без исключения мальчики поднимают руки. На их лицах выражение той злобной похотливой радости, с какою правоверные наблюдают, как их духовные пастыри мучают козлов отпущения — еретиков или же еще более сурово наказывают отступников, угрожающих существующему порядку.

В кадре снова наставник. Он лицемерно вздыхает и качает головой.

— Этого-то я и боялся, — говорит он и поворачивается к стоящей рядом с ним на помосте девочке. — А теперь скажи мне, в чем сущность женщины?

— Сущность женщины? — нерешительно переспрашивает девочка.

— Да, сущность женщины. Поторапливайся!

С выражением ужаса в голубых глазах она смотрит на мастера и отворачивается. Лицо ее покрывается мертвенной бледностью. Губы начинают дрожать, девушка с усилием сглатывает слюну.

— Женщина, — начинает она, — женщина...

Голос ее срывается, глаза наполняются слезами; отчаянно силясь сдержаться, она стискивает кулаки и кусает губы.

— Дальше! — взвизгивает наставник. Взяв с пола ивовый прут, он наносит девочке сильный удар по голым икрам. — Дальше!

— Женщина, — снова начинает девочка, — это сосуд Нечистого, источник всех уродств и... и... Ой!

Она вздрагивает от нового удара.

Знаток наук разражается смехом, класс вторит ему.

— Враг... — подсказывает он.

— Ага, враг человечества, наказанный Велиалом и призывающий кару на всех, кто поддается Велиалу в ней.

Долгое молчание.

— Ну, — говорит наконец наставник, — видишь, какова ты? Все сосуды таковы. А теперь ступай, ступай! — с внезапным гневом скрипит он и опять принимается ее сечь.

Плача от боли, девочка спрыгивает с помоста и бежит на свое место в строю.

В кадре снова вождь. Лоб его нахмурен, он недоволен.

— Ох, уж эти мне передовые методы обучения! — обращается он к доктору Пулу. — Никакой дисциплины. Не знаю, куда мы идем. Вот когда я был мальчишкой, наш старый наставник привязывал их к скамье и обрабатывал розгой. «Я научу тебя быть сосудом», — приговаривал он, и — раз! раз! раз! Велиал мой, как они выли! Вот так и надо учить, я считаю. Ладно, хватит с меня этого, — добавляет он. — Пошли скорее!

Носилки выплывают из кадра; камера задерживается на Луле, которая с болью и сочувствием глядит на залитое слезами лицо и вздрагивающие плечи маленькой жертвы во втором ряду. Чьи-то пальцы прикасаются к руке Лулы. Она вздрагивает, испуганно оборачивается, но, увидев перед собой доброе лицо доктора Пула, успокаивается.

— Я полностью с тобой согласен, — шепчет он. — Это дурно, несправедливо.

Быстро оглянувшись вокруг, Лула осмеливается ответить ему слабой благодарной улыбкой.

— Нам пора идти, — говорит она.

Они спешат за остальными. Вслед за носилками выходят из кофейни, поворачивают направо и входят в коктейль-бар. Огромная куча человеческих костей в углу зала доходит чуть ли не до потолка. Сидя на корточках в густой белой пыли, десятка два ремесленников выделывают чашки из черепов, вязальные спицы — из локтевых костей, флейты — из берцовых, ложки, рожки для обуви и домино — из тазовых и втулки для кранов — из бедренных.

Объявляется перерыв; один из рабочих играет «Хочу детумесценции» на флейте из большеберцовой кости, а другой тем временем подносит вождю великолепное ожерелье из позвонков разной величины — от детских затылочных до поясничных боксера-тяжеловеса.

###### Рассказчик

«...и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Сухие кости тех, кто умирал тысячами, миллионами в течение трех светлых летних деньков, которые у вас еще впереди. «И сказал мне: „Сын человеческий! оживут ли кости сии?“. Я ответил отрицательно. Потому что, хотя Барух и может помочь нам не попасть (возможно) в подобное хранилище костей, он бессилен отвести от нас ту, другую, более медленную и гнусную гибель...

В кадре носилки, которые несут по ступеням к главному входу. Вонь здесь неимоверная, грязь — неописуемая. Крупный план: две крысы, гложущие баранью кость; рой мух над гноящимися веками маленькой девочки. Камера отъезжает, дальний план: несколько десятков женщин, половина из которых с выбритыми головами, сидят на ступенях, на полу среди отбросов, на распотрошенных остатках бывших кроватей и диванов. Каждая из них нянчит младенца, всем младенцам по два с половиной месяца, младенцы у бритоголовых матерей — уродцы. Кадры, снятые крупным планом: личики с заячьей губой, тельца с обрубками вместо рук и ног, ручонки с гроздьями пальцев, грудки, украшенные сдвоенными сосками; за кадром — голос Рассказчика.

###### Рассказчик

Это другая погибель — на сей раз не от чумы, не от яда, не от огня, не от искусственно вызванного рака, а от бесславного разрушения самой сущности биологического вида. Эта страшная и совершенно негероическая смерть, предопределенная при рождении, может быть результатом как развития атомной промышленности, так и атомной войны. В мире, питающемся энергией атомного распада, бабка каждого человека так или иначе имела дело с рентгеновским излучением. И не только бабка — дед, отец, мать, три, четыре, пять поколений предков каждого человека, которые все ненавидят Меня.

С очередного уродца камера вновь переходит на доктора Пула, который стоит, прижав платок к своему слишком чувствительному носу, и с ужасом и смущением смотрит на происходящее вокруг.

— Все дети выглядят словно они одного возраста, — обращается он к стоящей рядом Луле.

— А ты как думал? Они же все родились между десятым и семнадцатым декабря.

— Но в таком случае... — страшно смутившись, запинается доктор Пул. — Похоже, — поспешно добавляет он, — что здесь все совсем не так, как в Новой Зеландии.

Несмотря на выпитое вино, он вспоминает о своей седовласой матери за океаном и, виновато покраснев, кашляет и отводит глаза.

— А вон Полли! — восклицает его спутница и спешит на другой конец зала.

Пробираясь между сидящими на корточках и лежащими матерями и бормоча извинения, доктор Пул движется вслед за нею.

Полли сидит на набитом соломой мешке рядом с бывшей кассой. Ей лет восемнадцать-девятнадцать, она невысока и хрупка, голова у нее выбрита, словно у приготовленного к казни преступника. Красота ее лица — в тонких чертах и огромных ясных глазах. С болезненным замешательством она поднимает их на Лулу, а потом равнодушно, безо всякого выражения, переводит их на лицо незнакомца, стоящего рядом.

— Милая!

Лула наклоняется и целует подругу. «Нет, нет», — видит доктор Пул. Лула садится рядом с Полли и обнимает ее, стараясь утешить. Полли утыкается лицом в плечо девушки, обе плачут. Словно разделяя их горе, уродец на руках у Полли просыпается и принимается жалобно попискивать. Полли поднимает голову с плеча подруги, ее лицо залито слезами; она бросает взгляд на безобразного младенца, расстегивает рубашку и, отодвинув красное «нет», дает грудь. Ребенок с неистовой жадностью принимается сосать.

— Я люблю его, — всхлипывает Полли. — Не хочу, чтобы его убили.

— Милая! — только и находит что сказать Лула. — Милая!

Громкий голос обрывает ее:

— Тихо там! Тихо!

Другие голоса подхватывают:

— Тише!

— Тихо там!

— Тише! Тише!

Разговоры резко стихают, и наступает долгое выжидательное молчание. Затем раздается звук рога, и чей-то удивительно детский, но тоже весьма уверенный голос объявляет:

— Его преосвященство архинаместник Велиала, владыка земли, примас Калифорнии, слуга пролетариата, епископ Голливудский!

Дальний план: парадная лестница гостиницы. В длинной мантии из англо-нубийского козлиного меха и золотой короне с четырьмя длинными, острыми рогами величественно спускается архинаместник. Служка держит над ним большой зонт из козлиной шкуры, за ним следуют два-три десятка церковных сановников — от трехрогих патриархов до однорогих пресвитеров и безрогих послушников. Все они — от архинаместника и ниже — безбороды, потны, толстозады, у всех них одинаковое флейтовое контральто.

Вождь встает с носилок и идет навстречу носителю духовной власти.

###### Рассказчик

Церковь и государство,

Алчность и коварство —

Два бабуина

В одной верховной горилле.

Вождь почтительно склоняет голову. Архинаместник воздевает руки к тиаре, притрагивается к двум передним рогам и возлагает получившие духовный заряд пальцы на лоб вождя.

— Да не пронзят тебя никогда рога Его.

— Аминь, — отзывается вождь, выпрямляется и добавляет уже не почтительным, а оживленным и деловым тоном: — Для вечера все готово?

Голосом десятилетнего мальчика, в котором, однако, слышится тягучая и велеречивая вкрадчивость видавшего виды священнослужителя, давно привыкшего играть роль высшего существа, стоящего в отдалении от своих собратьев и над ними, архинаместник отвечает, что все в порядке. Под личным наблюдением трехрогого инквизитора и патриарха Пасадены группа посвященных служек и послушников проехала по всем поселениям и провела ежегодную перепись. Все матери уродцев помечены. Им побрили головы и осуществили предварительное бичевание. На сегодняшний день все виновные переправлены в один из трех центров очищения, расположенных в Риверсайде, Сан-Диего и Лос-Анджелесе. Ножи и освященные воловьи жилы готовы, и, если Велиалу будет угодно, церемония начнется в назначенный час. К завтрашнему дню очищение страны будет завершено.

Архинаместник еще раз делает рожки и на несколько секунд застывает в молчании. Затем, открыв глаза, поворачивается к свите и скрипит:

— Забирайте бритых, забирайте эти оскверненные сосуды, эти живые свидетельства Велиаловой злобы и отведите их на место позора.

Дюжина пресвитеров и послушников сбегают с лестницы в толпу матерей.

— Живей! Живей!

— Во имя Велиала!

Медленно, неохотно безволосые женщины поднимаются. Прижимая свою маленькую изуродованную ношу к налитой молоком груди, они идут к дверям — в молчании, которое говорит о горе красноречивей любого крика.

Средний план: Полли на мешке с соломой. Молодой послушник подходит и грубо ставит ее на ноги.

— Вставай! — голосом сердитого и злобного ребенка кричит он. — Поднимайся, вместилище мерзости!

Он бьет Полли по щеке. Девушка отшатывается в ожидании следующего удара и почти бегом присоединяется к подругам по несчастью, толпящимся у входа.

Наплыв: ночное небо, сквозь тонкие полоски облаков просвечивают звезды, ущербная луна клонится к западу. Долгое молчание, затем слышится отдаленное пение. Постепенно мы начинаем различать слова: «Слава Велиалу, Велиалу в безднах!» — которые повторяются снова и снова.

###### Рассказчик

Перед глазами лапа обезьянья

Затмила звезды, и луну, и даже

Сам космос. Пять вонючих пальцев —

Весь мир.

Тень от лапы бабуина приближается к камере, растет, становится все более угрожающей и в конце концов закрывает все тьмой.

В кадре — лос-анджелесский Колизей изнутри. В дымном и неверном свете факелов видны лица членов Великой Конгрегации. Ярус над ярусом, они напоминают ряды гаргулий, извергающих из черных глазниц, трепещущих ноздрей, полуоткрытых губ под монотонное пение: «Слава Велиалу, Велиалу в безднах!» — продукты ритуальной религии: беспочвенную веру, сверхчеловеческое возбуждение, коллективное слабоумие. Внизу, на арене, сотни бритоголовых девушек и женщин, каждая с маленьким уродцем на руках, стоят на коленях перед главным алтарем. Жуткие в своих ризах из англо-нубийского меха и тиарах с золочеными рогами, на верху лестницы, ведущей к престолу, двумя группами стоят патриархи и архимандриты, пресвитеры и послушники и высокими дискантами поют антифоны под аккомпанемент флейт, сделанных из костей, и целой батареи ксилофонов.

###### Полухорие 1

Слава Велиалу,

###### Полухорие 2

Велиалу в безднах!

Пауза. Мелодия песнопения меняется: наступает новая часть службы.

###### Полухорие 1

Это ужасно,

###### Полухорие 2

Ужасно, ужасно

###### Полухорие 1

Попасть в руки —

###### Полухорие 2

Огромные и волосатые —

###### Полухорие 1

В руки живого зла!

###### Полухорие 2

Аллилуйя!

###### Полухорие 1

В руки врага человеческого —

###### Полухорие 2

В любимые нами руки

###### Полухорие 1

Мятежника, восставшего против порядка вещей.

###### Полухорие 2

С коим мы вступили в сговор против самих себя;

###### Полухорие 1

Во власть Великой Мясной Мухи — Повелителя Мух,

###### Полухорие 2

Вползающего в сердце;

###### Полухорие 1

Нагого червя, что бессмертен,

###### Полухорие 2

И, бессмертный, есть источник нашей вечной жизни;

###### Полухорие 1

Князя воздушных сил,

###### Полухорие 2

Спитфайра и Штукаса, Вельзевула и Азазела. Аллилуйя!

###### Полухорие 1

Владыки этого мира

###### Полухорие 2

И его растлителя,

###### Полухорие 1

Великого Господина Молоха,

###### Полухорие 2

Покровителя всех народов,

###### Полухорие 1

Господина нашего Маммоны,

###### Полухорие 2

Вездесущего,

###### Полухорие 1

Люцифера всемогущего

###### Полухорие 2

В церкви, в государстве,

###### Полухорие 1

Велиала

###### Полухорие 2

Трансцендентного,

###### Полухорие 1

Но столь же имманентного.

###### Вместе

В руки Велиала, Велиала, Велиала, Велиала.

Пение замирает; два безрогих послушника спускаются с лестницы, хватают ближайшую бритоголовую женщину, ставят на ноги и ведут ее, оцепеневшую от ужаса, наверх, где на последней ступени лестницы стоит патриарх Пасадены и правит лезвие длинного мясницкого ножа. Замерев от страха и раскрыв рот, коренастая мать-мексиканка смотрит на него. Один из послушников берет у нее ребенка и подносит патриарху.

Крупным планом: типичный продукт прогрессивной технологии — маленький монголоид-идиот с заячьей губой. За кадром пение хора.

###### Полухорие 1

Вот знак враждебности Велиала —

###### Полухорие 2

Мерзость, мерзость;

###### Полухорие 1

Вот плод благоволения Велиала —

###### Полухорие 2

Нечистоты из нечистот;

###### Полухорие 1

Вот кара за послушание Его воле —

###### Полухорие 2

На земле, равно как и в аду.

###### Полухорие 1

Кто источник всех уродств?

###### Полухорие 2

Мать.

###### Полухорие 1

Кто избранный сосуд греховности?

###### Полухорие 2

Мать.

###### Полухорие1

Кто проклятие нашего рода?

###### Полухорие 2

Мать.

###### Полухорие 1

Одержимая, одержимая —

###### Полухорие 2

Изнутри и снаружи:

###### Полухорие 1

Ее инкуб — объект, ее субъект — суккуб,

###### Полухорие 2

И оба они — Велиал;

###### Полухорие 1

Одержимая Мясной Мухой,

###### Полухорие 2

Ползущей и жалящей,

###### Полухорие 1

Одержимая тем, что непреоборимо

###### Полухорие 2

Толкает ее, гонит ее,

###### Полухорие 1

Словно вонючего хорька,

###### Полухорие 2

Словно свинью в течке,

###### Полухорие 1

Вниз по наклонной

###### Полухорие 2

В невыразимую мерзость,

###### Полухорие 1

Откуда после долгого барахтанья,

###### Полухорие 2

После множества больших глотков пойла

###### Полухорие 1

Выныривает через девять месяцев мать

###### Полухорие 2

И приносит эту чудовищную насмешку над человеком.

###### Полухорие 1

Каково же будет искупление?

###### Полухорие 2

Кровь.

###### Полухорие 1

Как умилостивить Велиала?

###### Полухорие 2

Одной лишь кровью.

Камера переходит от престола к ярусам, где бледные гаргульи голодными глазами уставились вниз в предвкушении экзекуции. И вдруг они разверзают черные пасти и начинают петь в унисон — сначала неуверенно, потом все тверже и громче.

— Кровь, кровь, кровь, это кровь, кровь, кровь, это кровь...

В кадре снова престол. За кадром — бессмысленное, нечеловеческое пение.

Патриарх передает оселок одному из прислуживающих ему архимандритов, берет левой рукой младенца за шею и насаживает его на нож. Младенец взвизгивает и умолкает.

Патриарх поворачивается, выпускает с полпинты крови на алтарь и отбрасывает трупик в темноту. Пение вздымается неистовым крещендо:

— Кровь, кровь, кровь, это кровь, кровь, кровь...

— Увести, — повелительно скрипит патриарх.

Охваченная ужасом мать поворачивается и сбегает по ступеням. За нею спешат два послушника, яростно бичуя ее освященными воловьими жилами. Пение перемежается пронзительными криками. Со стороны аудитории слышится стон — полусоболезнующий, полуудовлетворенный. Раскрасневшись и немного задыхаясь от столь непривычных усилий, послушники хватают другую женщину — на этот раз юную девушку, хрупкую, стройную, почти девочку. Они тащат жертву по ступеням, лица ее не видно. Но вот один из послушников отступает чуть в сторону, и мы узнаем Полли. Ребенка — без больших пальцев на руках и с восемью сосками — подносят к патриарху.

###### Полухорие 1

Мерзость, мерзость! Каково же будет искупление?

###### Полухорие 2

Кровь.

###### Полухорие 1

Как умилостивить Велиала?

На этот раз отвечает весь зал:

— Одной лишь кровью, кровью, кровью, этой кровью...

Левая рука патриарха сжимается на шейке ребенка.

— Нет! Нет! Пожалуйста, не надо!

Полли бросается к малышу, но послушники ее оттаскивают. Под ее рыдания патриарх рассчитанно неторопливо насаживает ребенка на нож, после чего отшвыривает тельце во тьму за алтарем.

Слышится громкий крик. Средний план: в первом ряду зрителей доктор Пул теряет сознание.

В кадре «Греховная Греховных» изнутри. Это небольшое святилище, расположенное вдоль длинного края арены, сбоку от алтаря; оно представляет собой продолговатое здание из необожженного кирпича с престолом в одном конце и раздвижными дверьми в другом. Они сейчас приоткрыты, чтобы было видно происходящее на арене. Посреди комнаты на ложе развалился архинаместник. Неподалеку от него безрогий послушник жарит на угольной жаровне поросячьи ножки; чуть поодаль двурогий архимандрит выбивается из сил, пытаясь привести в чувство доктора Пула, который без признаков жизни лежит на носилках. Наконец холодная вода и несколько хлестких пощечин производят желаемый эффект. Ботаник вздыхает, открывает глаза, уклоняется от очередной пощечины и садится.

— Где я? — спрашивает он.

— В «Греховная Греховных», — отзывается архимандрит. — А это — его высокопреосвященство.

Доктор Пул узнает великого человека и догадывается почтительно склонить голову.

— Принеси табурет, — командует архинаместник.

Появляется табурет. Наместник кивает на него; доктор Пул с трудом встает на ноги, пошатываясь, пересекает комнату и садится. И сразу же особенно громкий вопль заставляет его обернуться.

Дальним планом — главный алтарь, снятый с точки доктора Пула. Патриарх как раз отшвыривает очередного уродца в темноту, а его прислужники бичуют воющую мать.

В кадре опять доктор Пул: он вздрагивает и закрывает лицо руками. За кадром слышно монотонное пение: «Кровь, кровь, кровь».

— Ужасно! — восклицает доктор Пул. — Ужасно!

— Но ведь ваша религия тоже не чурается крови, — иронически улыбнувшись, замечает архинаместник. — «Омыли одежды свои кровью Агнца». Не так ли?

— Совершенно точно, — признает доктор Пул. — Но мы же не совершаем омовений на самом деле. Только говорим о них или — еще чаще — поем.

Доктор Пул отводит взгляд. Молчание. Подходит послушник с большим блюдом и вместе с двумя бутылками ставит его на стол подле ложа. Настоящей старинной вилкой двадцатого века (подделка под раннегеоргианскую) архинаместник подцепляет свиную ножку и принимается ее глодать.

— Угощайтесь, — проглотив кусок, скрипит он и, указывая на бутылку, добавляет: — А вот вино.

Доктор Пул, который невероятно голоден, с готовностью принимает приглашение; снова наступает молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем да песнопениями с требованием крови.

— Вы, разумеется, в это не верите, — с набитым ртом констатирует наконец архинаместник.

— Ну что вы, уверяю вас... — протестует доктор Пул.

Он с таким рвением готов подчиниться, что его собеседник останавливает его сальной рукой:

— Ну-ну-ну! Мне просто хотелось бы объяснить вам, что у нас есть веские причины исповедовать нашу веру. Она, дорогой мой сэр, весьма разумна и практична. — Архинаместник замолкает, отпивает из бутылки и берет еще одну ножку. — Вы, как я понимаю, знакомы со всемирной историей?

— Чисто дилетантски, — скромно отвечает доктор Пул. Впрочем, он, пожалуй, может похвастать тем, что прочел почти все известные книги по этому вопросу — к примеру, «Взлет и падение России» Грейвза, «Крах западной цивилизации» Бейсдоу, неподражаемое «Вскрытие Европы» Брайта, не говоря уже о совершенно восхитительной и — несмотря на то что это роман — по-настоящему правдивой книге старика Персиваля Потта «Последние дни Кони-Айленда». — Вы, разумеется, ее знаете?

Архинаместник отрицательно качает головой.

— Я не знаю ничего из опубликованного после Этого, — лаконично отвечает он.

— Какой же я идиот! — восклицает доктор Пул, в который уж раз сожалея о своей чрезмерной разговорчивости — он прячет за нею застенчивость столь сильную, что, не скрывай он ее, она тут же лишит его дара речи.

— Но я читал довольно много из того, что было издано раньше, — продолжает архинаместник. — У нас тут, в южной Калифорнии, были очень недурные библиотеки. Сейчас они уже почти все выработаны. Боюсь, теперь нам придется искать топливо в более отдаленных местах. Но пока мы пекли хлеб, мне удалось спасти для нашей семинарии несколько тысяч томов.

— Словно церковь в Средневековье, — с воодушевлением культурного человека говорит доктор Пул. — У цивилизации нет лучшего друга, нежели религия. Вот этого-то мои друзья-агностики никогда... — Внезапно сообразив, что догматы его церкви не совсем совпадают с теми, какие исповедуются здесь, он останавливается и, пытаясь скрыть замешательство, припадает к бутылке.

Однако архинаместник, по счастью, слишком занят своими мыслями, чтобы оскорбиться или даже заметить эту faux pas[[17]](#footnote-17).

— Читаю я историю, — продолжает он, — и вот что вижу. Человек противостоит природе. «Я» противостоит установленному порядку, Велиал (рука небрежно изображает рожки) противостоит тому, другому. Битва длится сто тысяч лет или около того, и никто не может взять верх. А потом, три века назад, все внезапно и неудержимо пошло в одну сторону. Еще ножку?

Доктор Пул берет вторую ножку, его собеседник — третью.

— Сначала медленно, потом все быстрей и быстрей человек начинает торить дорогу наперекор установленному порядку. — Архинаместник на секунду смолкает и выплевывает хрящик. — Все гуще и гуще устилая пройденный путь представителями рода человеческого, Повелитель Мух, одновременно являющийся Мясной Мухой, гнездящейся в сердце у каждого индивидуума, продолжает свой победный марш по земле и становится вскоре ее безусловным хозяином.

Увлекшись своим визгливым красноречием и позабыв на миг о том, что он не на кафедре собора Святого Азазела, архинаместник широким взмахом отводит руку в сторону. С его вилки слетает свиная ножка. Добродушно хохотнув над своей неловкостью, он поднимает ее с пола, вытирает о рукав своей козлиной сутаны, надкусывает и продолжает:

— Все началось с машин и первых кораблей с зерном из Нового Света. Появилась пища для голодных, и с плеч у людей спала тяжкая ноша. «Благодарим Тебя, Боже, что насытил Ты нас земных твоих благ...», и так далее, и тому подобное. — Архинаместник язвительно смеется. — Нет нужды говорить, что никто ничего не получает даром. Щедрость Господня имеет свою цену, и Велиалу известно, что цена эта высока. Возьмем, к примеру, машины. Велиал прекрасно понимал: когда непосильный труд будет немного облегчен, плоть подчинится железу, а ум станет рабом колес. Он знал, что если машина защищена от неумелого обращения, то она должна также быть защищена от людей искусных, талантливых, вдохновенных. Если продукт нехорош — вам возвращают ваши денежки, причем возвращают вдвое, найди вы в нем хоть намек на гений или индивидуальность! А тут — прекрасная еда из Нового Света. «Благодарим Тебя, Боже...» Но Велиал знал, что кормление есть размножение. В прежние дни, когда люди занимались любовью, они просто увеличивали процент детской смертности и уменьшали среднюю продолжительность жизни. Но после появления кораблей с зерном все стало иначе. Совокупление увеличивало население — да еще как!

Архинаместник снова визгливо смеется.

###### \* \* \*

Наплыв: в кадре, снятом через сильный микроскоп, сперматозоиды, яростно старающиеся достичь своей конечной цели — большого лунообразного яйца, находящегося в левом верхнем углу кадра. На звуковой дорожке тенор допевает последние пассажи листовской симфонии «Фауст»: «La femme eternelle toujours nous élève. La femme éternelle toujours...»[[18]](#footnote-18). Другой кадр: вид с воздуха на Лондон 1800 года. Затем — опять дарвиновская гонка на выживание и самосохранение. Снова вид Лондона, но уже в 1990 году, потом опять сперматозоиды и снова Лондон, каким увидели его германские летчики в 1940 году. Наплывом крупный план: архинаместник.

— Господи, — произносит он слегка дрожащим голосом, который всегда считается уместным для подобных фраз, — благодарим тебя за все эти бессмертные души, поселенные в тела, что год за годом становятся все более хворыми, захудалыми и паршивыми, поскольку все, что предсказывает Велиал, неизбежно сбывается. Планета перенаселена. Пятьсот, восемьсот, иногда даже вся тысяча человек на квадратную милю плодородной земли, а скверное земледелие уже начинает ее губить. Повсюду эрозия, повсюду выщелачивание минеральных солей. Пустыни наступают, леса хиреют. Даже в Америке, даже в этом Новом Свете, бывшем когда-то надеждой Старого Света. Спираль промышленности стремится вверх, спираль плодородия почвы — вниз. Больше и лучше, богаче и могущественнее, и вдруг — почти внезапно — голоднее и голоднее. Да, Велиал все это предвидел — переход от голода к ввозу пищи, от ввоза пищи — к резкому росту населения, от роста населения — опять к голоду. Опять к голоду. К новому голоду, голоду высшему — к голоду невероятно индустриализованных пролетариев, голоду жителей городов, у которых есть и деньги, и все удобства, и автомобили, и радиоприемники, и любые мыслимые приспособления, к голоду, вызывающему тотальные войны, которые, в свою очередь, влекут за собой еще более жестокий голод.

Архинаместник останавливается и опять отхлебывает из бутылки.

— И запомните, — продолжает он, — что Велиал мог добиться своего даже без искусственного сапа, даже без атомной бомбы. Быть может, немного медленнее, но столь же неизбежно люди уничтожили бы себя, уничтожив мир, в котором жили. Деваться им было некуда. Велиал уже поддел их обоими рогами. Если бы им удалось соскользнуть с рога тотальной войны, они оказались бы на роге голодной смерти. А начни они умирать от голода, у них появилось бы искушение прибегнуть к войне. И попытайся они найти мирный и разумный выход из создавшегося положения, наготове был еще один более коварный рог — самоуничтожение. С самого начала промышленной революции Он предвидел: благодаря чудесам новой техники люди станут столь невообразимо самоуверенными, что потеряют всякое чувство реальности. Именно это и произошло. Эти жалкие рабы колес и гроссбухов стали поздравлять себя с тем, что покорили природу. Покорители природы, как же! В действительности же они просто нарушили равновесие в природе и вот-вот уже должны были начать расхлебывать последствия. Только подумайте, что они понаделали за полтораста лет до Этого. Загадили реки, истребили диких зверей, уничтожили леса, смыли пахотный слой земли в море, сожгли океан нефти, разбазарили полезные ископаемые, которые накапливались в течение целых геологических эпох. Разгул преступного тупоумия. И они называли это прогрессом! Прогресс, — повторяет архинаместник, — прогресс! Говорю вам, столь невероятная выдумка не могла родиться в простом человеческом мозгу — слишком уж много в ней дьявольской язвительности. Без посторонней помощи тут не обошлось. Без милости Велиала, которая всегда готова низойти на тех, конечно, кто готов к сотрудничеству. А кто не готов?

— Да, кто не готов? — хихикнув, повторяет доктор Пул, который чувствует, что должен как-то исправить свою оплошность насчет церкви в Средневековье.

— Он вложил им в головы две великие идеи: прогресс и национализм. Прогресс — это измышления о том, будто можно получить что-то, ничего не отдав взамен, будто можно выиграть в одной области, не заплатив за это в другой, будто только ты постигаешь смысл истории, будто только ты знаешь, что случится через пятьдесят лет, будто ты можешь вопреки опыту предвидеть все последствия того, что делаешь сейчас, будто впереди — утопия и раз идеальная цель оправдывает самые гнусные средства, то твое право и долг — грабить, обманывать, мучить, порабощать и убивать всех, кто, по твоему мнению (которое, само собой разумеется, непогрешимо), мешает продвижению к земному раю. Вспомните высказывание Карла Маркса: «Насилие — это повивальная бабка истории». Он мог бы добавить — но Велиалу, конечно, не хотелось выпускать кошку из мешка раньше времени, — добавить, что история — это повивальная бабка насилия. Повивальная бабка вдвойне, поскольку технический прогресс сам по себе дает людям в руки средства огульного уничтожения, тогда как миф о прогрессе в политике и нравственности служит оправданием тому, что средства эти используются на всю мощь. Говорю вам, дорогой мой сэр, если в историке нет набожности, значит, он сумасшедший. Чем дольше изучаешь новейшую историю, тем явственней ощущаешь присутствие направляющей руки Велиала. — Архинаместник показывает рожки, освежается глотком вина и продолжает: — А потом еще национализм — измышления о том, будто государство, подданным которого ты оказался, единственное настоящее божество, а остальные государства — божества фальшивые, будто у всех этих божеств — настоящих или фальшивых, не важно — умственное развитие малолетних преступников и будто любой конфликт на почве престижа, власти или денег — это крестовый поход во имя добра, правды и красоты. Тот факт, что сто*́* ит в какой-то момент истории появиться таким измышлениям, как они принимаются всеми за чистую монету, — лучшее доказательство существования Велиала, лучшее доказательство того, что в конечном счете битву выиграл Он.

— Я что-то не совсем улавливаю, — говорит доктор Пул.

— Но это ж очевидно! Положим, у вас есть два принципа. Каждый из них в корне абсурден, и каждый ведет к явно губительным действиям. Тем не менее все просвещенное человечество внезапно решает принять эти принципы в качестве линий поведения. Почему? Кто предложил, подсказал, вдохновил? Ответ может быть только один.

— Так вы имеете в виду... Вы думаете, что это дьявол?

— А кто ж еще желает вырождения и исчезновения рода человеческого?

— Верно, верно, — соглашается доктор Пул. — Но все равно как протестант я не могу...

— В самом деле? — саркастически осведомляется архинаместник. — В таком случае вы умнее, чем Лютер, умнее, чем вся христианская церковь. А известно ли вам, сэр, что начиная со второго века ни один правоверный христианин не считал, что человек может быть одержим Богом? Он мог быть одержим лишь дьяволом. А почему люди верили в это? Потому что факты не позволяли им верить во что-либо иное. Велиал — это факт, Молох — это факт, одержимость дьяволом — тоже факт.

— Я не согласен, — кричит доктор Пул. — Как ученый я...

— Как ученый вы обязаны принять рабочую гипотезу, которая объясняет факты наиболее правдоподобно. Итак, каковы же факты? Первый вытекает из опыта и наблюдений: никто не хочет страдать, терпеть унижения, быть изувеченным или убитым. Второй факт — исторический, и суть его в том, что в определенные периоды подавляющее большинство людей исповедовало такие вероучения и действовало таким образом, что в результате не могло получиться ничего другого, кроме постоянных страданий, повсеместных унижений и всеобщего уничтожения. Правдоподобно объяснить это можно лишь тем, что они были одержимы или вдохновляемы чужим сознанием — сознанием, которое желало их гибели, причем более сильно, нежели они сами желали себе счастья и выживания.

Молчание.

— Но все же, — осмеливается наконец возразить доктор Пул, — эти факты можно объяснить и по-другому.

— Но не так правдоподобно и далеко не так просто, — настаивает архинаместник. — А потом, не надо забывать и о других доказательствах. Возьмем Первую мировую войну. Если бы народы и политики не были одержимы дьяволом, они бы послушались Бенедикта XV или маркиза Лэнсдауна, пришли к соглашению, договорились о мире без победы. Но не смогли, просто не смогли. Оказались не в состоянии действовать в своих же собственных интересах. Им приходилось делать то, что диктовал им сидевший у них внутри Велиал, а он желал коммунистической революции, желал фашистской реакции на эту революцию, желал Муссолини, Гитлера, Политбюро, желал голода, инфляции, кризиса, желал вооружения как лекарства от безработицы, желал преследований евреев и кулаков, желал, чтобы нацисты и коммунисты поделили Польшу, а потом пошли друг на друга войной. Да, и Он желал полного возрождения рабства в самой жестокой его форме. Он желал депортаций и массовой нищеты. Желал концентрационных лагерей, и газовых камер, и крематориев. Желал массированных бомбовых ударов по площадям — восхитительно сочное выражение! Желал, чтобы в один миг было уничтожено благосостояние, накапливавшееся веками, равно как и все возможности для будущего процветания, порядочности, свободы и культуры. Велиал желал всего этого, поскольку, въевшись Великой Мясной Мухой в сердца политиков и генералов, журналистов и простых людей, он мог легко сделать так, чтобы католики не обращали внимания на Папу, чтобы Лэнсдауна объявили плохим патриотом, чуть ли не предателем. И война длилась целых четыре года, а потом все пошло в точном соответствии с планом. Положение в мире неуклонно менялось от плохого к худшему, и по мере того, как оно ухудшалось, мужчины и женщины все покорнее подчинялись приказам Нечистого Духа. Былая вера в ценность каждой отдельной души человеческой исчезла, былые сдерживающие начала перестали действовать, былые раскаяние и сострадание растаяли как дым. Все, что Тот, другой, вложил людям в головы, вытекло наружу, а образовавшийся вакуум заполнился безрассудными мечтаниями о прогрессе и национализме. По этим мечтаниям выходило, что простые люди, жившие сейчас, здесь, не лучше муравьев или клопов и обращаться с ними нужно соответственно. Вот с ними и стали обращаться соответственно, да еще как соответственно!

Архинаместник издает резкий смешок, кладет себе последнюю ножку и продолжает:

— В то время старина Гитлер представлял собою вполне приличный образчик бесноватого. Конечно, он не был одержим до такой степени, как это было со многими великими вождями народов в период между тысяча девятьсот сорок пятым годом и началом третьей мировой войны, но для своего времени он был выше среднего уровня — это бесспорно. С большим правом, чем любой из его современников, он мог заявить: «Не я, но Велиал во мне». Другие были одержимы лишь частично, лишь в определенные отрезки времени. Возьмем для примера ученых. В большинстве своем они хорошие люди, действующие из самых лучших побуждений. Но Он все равно завладел ими, завладел до такой степени, что они перестали быть людьми и превратились в специалистов. Отсюда и сап, и эти самые бомбы. А потом, вспомните-ка этого человека... Ну как бишь его? Он еще так долго был президентом Соединенных Штатов...

— Рузвельт? — высказывает предположение доктор Пул.

— Правильно, Рузвельт. Так вот, помните, что он повторял на протяжении всей Второй мировой войны? «Безоговорочная капитуляция, безоговорочная капитуляция». Безоговорочное наущение — вот что это было. Прямое, безоговорочное наущение!

— Это вы только так говорите, — протестует доктор Пул. — А где доказательства?

— Доказательства? — подхватывает архинаместник. — Доказательством служит вся последующая история. Ведь что получилось, когда эти слова превратились в политику и стали проводиться в жизнь? Безоговорочная капитуляция — и сколько миллионов новых заболеваний туберкулезом? Сколько миллионов детей вынуждены были кормиться воровством или продавать себя за плитку шоколада? А несчастьям детей Велиал особенно рад. Безоговорочная капитуляция — и Европа разрушена, в Азии хаос, везде голод, революция, тирания. Безоговорочная капитуляция — и масса ни в чем не повинных людей испытывает муки, худшие, чем в любой другой период истории. А как вам хорошо известно, Велиал больше всего любит мучения невинных. И наконец, произошло Это. Безоговорочная капитуляция — и бах! Его намерения осуществились. И все это случилось без какого-либо чуда или нарочитого вмешательства, совершенно естественно. Чем больше думаешь о том, как осуществляется Его промысел, тем более непостижимым и чудесным он кажется. — Архинаместник благочестиво изображает рожки. Пауза. Потом он поднимает руку и говорит: — Послушайте!

Несколько секунд все сидят молча. Неясное, монотонное пение становится слышнее. «Кровь, кровь, кровь, это кровь...» Доносится слабый крик — еще одного уродца насадили на нож патриарха, затем слышатся глухие удары воловьими жилами по телу и несколько громких, почти нечеловеческих воплей на фоне возбужденного рева толпы.

— Трудно поверить, что Он создал нас, не прибегая к чуду, — задумчиво продолжает архинаместник. — Однако же создал, создал. Самым естественным образом, используя людей и их науку в качестве орудий. Он создал совершенно новую человеческую породу — людей с испорченной кровью, живущих в убожестве, людей, которых ждет лишь еще большее убожество и еще более испорченная кровь, вплоть до полного исчезновения. Да, дело страшное — попасть в лапы к Живому Злу.

— Тогда зачем же вы продолжаете ему поклоняться? — спрашивает доктор Пул.

— А зачем вы бросаете пищу рычащему тигру? Чтобы купить себе передышку. Чтобы хоть на несколько минут отодвинуть ужас неизбежности.

Отодвинуть могилу, а в действительности — ад, хоть еще немного пожить на земле.

— Вряд ли это стоит труда, — философски замечает доктор Пул тоном только что отобедавшего человека.

Особенно пронзительный вопль заставляет его обернуться к двери. Несколько секунд он молча ждет. Выражение ужаса у него на лице уступает место любознательности ученого.

— Начинаете привыкать, а? — добродушно осведомляется архинаместник.

###### Рассказчик

Привычка, совесть... Совесть — ты из нас

То трусов, то святых, но человеков ладишь,

Привычка же — папистов, протестантов,

Садистов, бэббитов, словаков или шведов;

Кто убивает кулаков, евреев душит,

Кто за идею яростно кромсает

Плоть трепетную, будучи уверен,

Что это — ради высших идеалов.

Да, друзья мои, вспомните, каким негодованием вы преисполнились, когда турки вырезали армян больше, чем обычно, как благодарили Господа, что живете в протестантской, прогрессивной стране, где такое просто не может произойти — не может, потому что мужчины здесь носят цилиндры и каждый день ездят на службу поездом восемь двадцать три. А теперь поразмыслите немного об ужасах, которые вы уже воспринимаете как нечто само собой разумеющееся, о вопиющих нарушениях элементарных норм порядочности, которые творились с вашего ведома (а быть может, и вашими собственными руками), о зверствах, которые ваша дочурка дважды в неделю видит в кинохронике и считает их заурядными и скучными. Если так пойдет и дальше, то через двадцать лет ваши дети будут смотреть по телевизору бои гладиаторов, а когда приестся и это, начнутся трансляции массовых распятий тех, кто отказывается нести воинскую службу, или же цветные передачи о том, как в Тегусигальпе заживо сдирают кожу с семидесяти тысяч человек, подозреваемых в антигондурасских действиях.

Тем временем в «Греховная Греховных» доктор Пул все еще смотрит в приоткрытые двери. Архинаместник ковыряет в зубах. Уютная послеобеденная тишина. Внезапно доктор Пул поворачивается к собеседнику.

— Там что-то происходит! — возбужденно восклицает он. — Они встают с мест!

— Я уже давно жду этого, — не переставая ковырять в зубах, отзывается архинаместник. — Это кровь так действует. Кровь, ну и, конечно, бичевание.

— Они прыгают на арену, — продолжает доктор Пул. — Бегают друг за другом. Что же это?.. О Боже, извините, — поспешно добавляет он. — Но в самом деле... — В невероятном возбуждении он отходит от двери. — Ведь есть же какие-то пределы?

— Вот тут вы не правы, — отзывается архинаместник. — Пределов нет. Каждый способен на что угодно, буквально на что угодно.

Доктор Пул не отвечает. Помимо его желания какая-то сила неудержимо тянет его на прежнее место: он возвращается к двери и жадно, с ужасом смотрит на происходящее на арене.

— Это чудовищно! — восклицает он. — Просто отвратительно!

Архинаместник тяжело поднимается с ложа и, отворив дверцу маленького шкафчика в стене, достает оттуда бинокль и протягивает его доктору Пулу.

— Попробуйте, — говорит он. — Бинокль ночного видения. Стандартный, морской — таким пользовались на флоте до Этого. Вам все будет видно.

— Неужели вы считаете?..

— Не только считаю, — с иронической, но благосклонной улыбкой отзывается архинаместник, — но и наблюдал собственными глазами. Взгляните, попробуйте. В Новой Зеландии вы такого не видели.

— Разумеется, нет, — отвечает доктор Пул тоном, каким произнесла бы это его матушка, однако подносит бинокль к глазам.

Дальний план с точки, где он стоит. На арене — сатиры и нимфы; одни преследуют, другие, для пущего возбуждения немного посопротивлявшись, сдаются в плен, одни губы уступают другим, окруженным волосами, томящиеся груди уступают нетерпеливым грубым рукам, и все это под аккомпанемент разноголосых криков, визга и пронзительного смеха.

В кадре снова архинаместник: лицо его морщится от презрительного отвращения.

— Как кошки, — цедит он. — Только у кошек хватает скромности не заниматься своими ухаживаниями в стае. Все еще сомневаетесь насчет Велиала, даже теперь?

Молчание.

— Такое началось после... Этого? — спрашивает доктор Пул.

— Через два поколения.

— Два поколения! — присвистывает доктор Пул. — Вот в этой мутации рецессивных признаков нет. А они... то есть я хочу сказать, что в другое время они ведут себя так же?

— Только эти пять недель — и все. А совокупляться мы разрешаем лишь в течение двух недель.

— Но почему же?

Архинаместник делает рожки:

— Из принципиальных соображений. Они должны быть наказаны за то, что были наказаны. Это закон Велиала. И должен сказать, мы их действительно наказываем, если они нарушают правила.

— Понятно, понятно, — соглашается доктор Пул, с неловкостью вспомнив о сценке, разыгравшейся в дюнах между ним и Лулой.

— Это довольно сложно для тех, кто склонен к старомодной системе спаривания.

— И много у вас таких?

— Пять-десять процентов населения. Мы называем их «бешеными».

— И не позволяете?..

— Если они попадаются к нам в руки, мы с них спускаем шкуру.

— Но это же чудовищно!

— Конечно, — соглашается архинаместник. — Но вспомните вашу историю. Если вы хотите добиться солидарности, вам нужен или внешний враг, или угнетенное меньшинство. Внешних врагов у нас нет, поэтому приходится извлекать из «бешеных» все, что можно. Для нас они — то же самое, чем были для Гитлера евреи, для Ленина и Сталина — буржуазия, чем были еретики в католических странах и паписты в протестантских. Если что не так — виноваты «бешеные». Не представляю, что бы мы без них делали.

— Но неужели вам никогда не приходит в голову подумать о том, что чувствуют они?

— А зачем? Прежде всего таков закон. Заслуженное наказание за то, что ты был наказан. Во-вторых, если они будут проявлять осторожность, то избегнут наказания. От них требуется лишь не рожать детей, когда не положено, и скрывать, что они влюбились и находятся в постоянных сношениях с особой противоположного пола. И потом, если они не хотят соблюдать осторожность, то всегда могут сбежать.

— Сбежать? Куда?

— На севере, неподалеку от Фресно, есть небольшая община. На восемьдесят пять процентов — «бешеные». Конечно, путь туда опасен. Очень мало воды по дороге. И если мы ловим беглецов, то хороним их заживо. Но они вполне вольны пойти на этот риск. А потом, есть еще священство. — Архинаместник показывает рожки. — Будущее каждого смышленого мальчика с ранними задатками «бешеного» обеспечено: мы делаем из него священнослужителя.

Следующий вопрос доктор Пул осмеливается задать лишь через несколько секунд.

— Вы имеете в виду, что?..

— Вот именно, — отвечает архинаместник. — Ради Царства Ада. Не говоря уже о чисто практических соображениях. В конце концов, должен же кто-то управлять общиной, а миряне делать это не в состоянии.

На секунду шум на арене становится просто оглушительным.

— Тошнотворно! — в порыве сильнейшего омерзения скрипит архинаместник. — Но это пустяки по сравнению с тем, что будет потом. Как я благодарен, что меня уберегли от подобного позора! Это ведь не они — это враг рода человеческого, вселившийся в их отвратительные тела. Будьте добры, взгляните вон туда, — архинаместник притягивает к себе доктора Пула и указывает на кого-то своим толстым пальцем. — Вон там, слева от главного алтаря, некто обнимается с маленьким рыжеволосым сосудом. И это вождь, вождь! — насмешливо подчеркивает он. — Что за правитель будет из него в течение следующих двух недель?

Подавив в себе искушение пройтись по поводу человека, который хоть временно и отошел от дел, но вскоре снова обретет всю полноту власти, доктор Пул нервно хихикает.

— Да, он явно отдыхает от государственных забот.

###### Рассказчик

Но почему, почему он должен отдыхать непременно с Лулой? Низкая тварь, вероломная шлюха! Но в этом есть хоть одно утешение — и для застенчивого человека, мучимого желаниями, которые он не осмеливается удовлетворить, утешение весьма существенное — поведение Лулы говорит о ее доступности, в Новой Зеландии, в академических кругах, поблизости от матушки об этом можно лишь тайно мечтать как о чем-то прекрасном, но несбыточном. Причем доступна, оказывается, не только Лула. То же самое, и не менее активно, не менее громогласно, демонстрируют и мулатки, и Флосси, и пухленькая немочка с волосами цвета меда, и необъятная армянская матрона, и светловолосая девчушка с большими голубыми глазами...

— Да, это наш вождь, — горько говорит архинаместник. — Пока дьявол не покинет его и всех остальных свиней, властвовать будет церковь.

Несмотря на непреоборимое желание быть сейчас на арене с Лулой, а если на то пошло, то и с кем угодно, безнадежно воспитанный доктор Пул высказывает подходящее случаю замечание о духовной власти и временном могуществе.

Не обращая на его слова внимания, архинаместник отрывисто бросает:

— Ну, пора браться за дело.

Он подзывает послушника, берет у него сальную свечку и идет к алтарю, находящемуся в восточном конце святилища. Там стоит свеча из желтого пчелиного воска, фута четыре высотой и непропорционально толстая. Архинаместник преклоняет колена, зажигает эту свечу, делает пальцами рожки и возвращается к месту, где стоит доктор Пул, который широко раскрытыми глазами, словно зачарованный ужасом и собственным вожделением, наблюдает происходящий на арене спектакль.

— Посторонитесь, пожалуйста.

Доктор Пул отходит.

Послушник отодвигает сначала одну половинку двери, затем другую. Архинаместник выходит вперед и, остановившись в дверном проеме, прикасается к золоченым рогам на тиаре. Музыканты, стоящие на ступенях главного престола, пронзительно дуют в свои флейты из бедренных костей. Шум толпы смолкает, и лишь время от времени тишина нарушается мерзкими выкриками радости или боли, которые, видимо, никак не сдержать — слишком уж они яростны. Священники начинают антифон.

###### Полухорие 1

Пришло время,

###### Полухорие 2

Ведь Велиал безжалостен,

###### Полухорие 1

Время конца времен

###### Полухорие 2

В хаосе похоти.

###### Полухорие 1

Пришло время,

###### Полухорие 2

А Велиал ведь у вас в крови,

###### Полухорие 1

Время, когда рождаются в вас

###### Полухорие 2

Не ваши, чужие

###### Полухорие 1

Зудящие лишаи,

###### Полухорие 2

Распухший червь.

###### Полухорие 1

Пришло время,

###### Полухорие 2

Ведь Велиал ненавидит вас,

###### Полухорие 1

Время смерти души,

###### Полухорие 2

Время гибели человека,

###### Полухорие 1

Приговоренного желанием,

###### Полухорие 2

Казненного удовольствием;

###### Полухорие 1

Время, когда враг

###### Полухорие 2

Одерживает победу,

###### Полухорие 1

Когда бабуин становится хозяином

###### Полухорие 2

И зачинаются чудовища.

###### Полухорие 1

Не по вашей воле, но по Его

###### Полухорие 2

Ждет вас вечная гибель.

Громко и единодушно толпа подхватывает:

— Аминь!

— Да будет на вас его проклятие, — произносит архинаместник своим пронзительным голосом, затем переходит в другой конец святилища и взгромождается на трон, стоящий рядом с алтарем. Снаружи слышатся неясные крики, которые становятся все громче и громче; внезапно святилище заполняется толпой беснующихся. Они бросаются к алтарю, срывают друг с друга фартуки и сваливают их в груду у подножия трона. «Нет, нет, нет» — и на каждое «нет» раздается победное «да!», сопровождающееся недвусмысленным жестом в сторону ближайшего представителя противоположного пола. Вдалеке монотонно, снова и снова повторяя слова, поют священники: «Не по вашей воле, но по Его ждет вас вечная гибель».

Крупный план: доктор Пул наблюдает за происходящим из угла святилища.

В кадре снова толпа: одно бессмысленное, искаженное экстазом лицо сменяется другим. И вдруг лицо Лулы: глаза сияют, губы полуоткрыты, ямочки на щеках живут полной жизнью. Она поворачивает голову и замечает доктора Пула:

— Алфи!

Ее тон и выражение лица вызывают столь же восторженный ответ:

— Лула!

Они бросаются друг к другу и страстно обнимаются. Идут секунды. На звуковой дорожке раздаются вазелиноподобные напевы «Страстной пятницы» из «Парсифаля».

Лица отодвигаются друг от друга, камера отъезжает.

— Скорей, скорей!

Лула хватает доктора Пула за руку и тащит к алтарю.

— Фартук, — командует она.

Доктор Пул опускает взгляд на ее фартук, затем, сделавшись таким же красным, как вышитое «нет», отводит глаза и мямлит:

— Но это же... это непристойно...

Он протягивает руку, отдергивает и наконец решается. Взявшись двумя пальцами за уголок фартука, он раза два слабо и нерешительно дергает.

— Сильней, — кричит девушка, — еще сильней!

С почти безумной яростью — ведь он срывает не только фартук, но и влияние своей матушки, все запреты, все условности, на которых вырос, — доктор Пул делает, как ему сказано. Фартук отрывается гораздо легче, нежели он предполагал, и ботаник едва не падает навзничь. С трудом удержавшись на ногах, он стоит и сконфуженно смотрит то на фартук, олицетворяющий седьмую заповедь, то на смеющееся лицо Лулы, то снова на алый запрет. Чередование кадров: «нет» — ямочки, «нет» — ямочки, «нет»...

— Да! — восторженно кричит Лула. — Да!

Она выхватывает фартук у него из рук и бросает к подножию трона. Затем с криком «Да!» яростно срывает заплаты с груди и, повернувшись к алтарю, становится перед свечой на колени.

Средний план: коленопреклоненная Лула со спины. Вдруг в кадр влетает какой-то седобородый мужчина, срывает оба «нет» с ее домотканых штанов и тащит девушку к выходу из святилища.

Лула бьет его по лицу, толкает изо всех сил, вырывается и снова бросается в объятия к доктору Пулу.

— Да? — шепчет она.

И он восторженно отвечает:

— Да!

Они целуются, дарят друг другу восторженную улыбку и уходят в темноту за раздвижными дверьми. Когда они проходят мимо трона, архинаместник наклоняется и, иронически улыбаясь, похлопывает доктора Пула по плечу.

— Как там насчет моего бинокля? — спрашивает он.

Наплыв: ночь, чернильные тени и полосы лунного света. Вдали — громада разрушающегося музея округа Лос-Анджелес. Нежно обнявшиеся Лула и доктор Пул входят в кадр, затем исчезают в непроницаемой тьме. Силуэты мужчин, бегущих за женщинами, женщин, набрасывающихся на мужчин, на секунду появляются и пропадают. На фоне музыки «Страстной пятницы» то громче, то тише слышится хор воркотни и стонов, непристойных выкриков и протяжных воплей мучительного наслаждения.

###### Рассказчик

Возьмем птиц. Сколько изысканности в их любви, сколько старомодного рыцарства! И хотя гормоны, вырабатываемые в организме племенной курицы, располагают ее к половому возбуждению, воздействие их не столь сильно и не столь кратковременно, как воздействие гормонов яичника, поступающих в кровь самки млекопитающего в период течки. К тому же по вполне понятным причинам петух не в состоянии навязать свое желание не расположенной к нему курице. Этим объясняется наличие у самцов птиц яркого оперения и инстинкта ухаживания. Этим же объясняется и явное отсутствие этих привлекательных свойств у самцов млекопитающих. Ведь если любовные желания самки и ее привлекательность для самцов предопределены исключительно химически, как это имеет место у млекопитающих, то к чему самцам такое мужское достоинство, как способность к предварительному ухаживанию?

У людей каждый день в году потенциально брачный. Девушки в течение нескольких дней химически не предрасположены принять ухаживания первого попавшегося мужчины. Организм девушки вырабатывает гормоны в дозах, достаточно небольших для того, чтобы даже наиболее темпераментные из них имели определенную свободу выбора. Вот почему, в отличие от своих млекопитающих собратьев, мужчина всегда должен был домогаться женщины. Но теперь гамма-лучи все изменили. Унаследованные стереотипы физического и умственного поведения мужчины приобрели иную форму. Благодаря полному триумфу современной науки секс стал делом сезонным, романтику поглотила случка, а химическая готовность женщины к совокуплению сделала ненужными ухаживания, рыцарственность, нежность, да и саму любовь.

В этот миг из мрака появляются сияющая Лула и довольно растрепанный доктор Пул. Дородный мужчина, временно оставшийся без пары, проходит мимо. Завидев Лулу, он останавливается. Челюсть у него отвисает, глаза расширяются, дыхание становится прерывистым.

Доктор Пул бросает на незнакомца взгляд, потом с беспокойством обращается к своей спутнице:

— Думаю, неплохо будет прогуляться в ту сторону...

Ни слова не говоря, незнакомец набрасывается на него, отшвыривает в сторону и заключает Лулу в объятия. Какое-то время она сопротивляется, но затем категорический императив химических веществ в крови заставляет ее прекратить борьбу.

Со звуками, какие издает тигр во время кормежки, незнакомец поднимает девушку и уносит во тьму.

Доктор Пул, успевший к этому времени подняться с земли, делает движение, словно хочет броситься за ними, чтобы отомстить, чтобы спасти невинную жертву. Но страх и скромность заставляют его замедлить шаг. Ведь если он пойдет за ними, бог знает, на что он там натолкнется. А потом, этот мужчина — волосатая груда костей и мышц... Вообще-то, наверное, лучше... Он в нерешительности останавливается, не зная, что предпринять. Внезапно из музея выбегают две хорошенькие мулатки и, обняв доктора Пула своими шоколадными руками, принимаются целовать.

— Какой большой и красивый негодник! — раздается в унисон их хриплый шепот.

Какое-то мгновение доктор Пул колеблется между сдерживающими воспоминаниями о матушке, верностью Луле, предписываемой всеми поэтами и романистами, с одной стороны, и теплыми, упругими фактами, какие они есть, — с другой. Секунды через четыре внутреннего конфликта он, как и следовало ожидать, выбирает факты. Ботаник улыбается, начинает отвечать на поцелуи, шепча слова, которые изумили бы мисс Хук и просто убили бы его мать, обнимает девушек и принимается ласкать их груди руками, которые прежде не делали ничего подобного — разве что в постыдных мечтаниях. Звуки, сопровождающие процесс повального совокупления, на несколько секунд делаются громче, потом стихают. Некоторое время стоит полная тишина.

В сопровождении архимандритов, служек, пресвитеров и послушников в кадре величественно движутся архинаместник и патриарх Пасадены. Завидев доктора Пула и мулаток, они останавливаются. С гримасой омерзения патриарх сплевывает на землю. Архинаместник, как человек более терпимый, лишь иронически улыбается.

— Доктор Пул! — окликает он своим странным фальцетом.

Словно услыхав голос матушки, доктор Пул с виноватым выражением опускает свои неугомонные руки и, повернувшись к архинаместнику, пытается принять вид воплощенной невинности. «Девушки? — словно говорит его улыбка. — Кто они? Да я даже не знаю, как их зовут. Мы тут просто поболтали немного о высших тайнобрачных — и все».

— Какой большой... — начинает хриплый голос.

Громко кашлянув, доктор Пул пытается уклониться от сопровождающих эти слова объятий.

— Не обращайте на нас внимания, — любезно говорит архинаместник. — В конце концов, Велиалов день бывает лишь раз в году.

Подойдя поближе, он прикасается к золотым рогам на тиаре и возлагает руки на голову доктора Пула.

— Твое обращение было внезапным и чудесным, — произносит он с неожиданной профессиональной елейностью. — Да, чудесным. — И, резко сменив тон, добавляет: — Кстати, ваши новозеландские друзья доставили нам кое-какие хлопоты. Сегодня днем их заметили на Беверли-Хиллз. Думаю, они вас искали.

— Да, наверно.

— Но они вас не найдут, — мило продолжает архинаместник. — С ними справился отряд служек под предводительством одного из наших инквизиторов.

— Что случилось? — тревожно осведомляется доктор Пул.

— Наши устроили засаду и осыпали их стрелами. Одного убили, остальные скрылись, прихватив с собой раненых. Не думаю, чтобы они побеспокоили нас снова. Но на всякий случай... — Он кивает двоим из сопровождающих. — Значит, так, вы отвечаете, чтобы его никто не освободил и сам он не сбежал, понятно?

Два послушника склоняют головы.

— А теперь, — повернувшись к доктору Пулу, заключает архинаместник, — можете зачинать уродцев сколько душе угодно.

Он подмигивает, треплет доктора Пула по щеке, затем берет под руку патриарха и в сопровождении свиты удаляется.

Доктор Пул смотрит им вслед, потом бросает смущенный взгляд на своих охранников.

Его шею обвивают шоколадные руки.

— Какой большой...

— Ну что вы в самом деле! Не на публике же! Не под носом же у этих!

— Какая разница?

И прежде чем он успевает ответить, представители «жизни, как она есть» в два счета снова подступают к нему, хитроумно обвивают его руками и, словно наполовину упирающегося, наполовину счастливого и на все согласного Лаокоона, уводят во мрак. Послушники с отвращением одновременно сплевывают.

###### Рассказчик

L'ombre etait nuptiale, auguste et solennelle...[[19]](#footnote-19)

Его перебивает взрыв бешено-похотливых воплей.

###### Рассказчик

*Когда гляжу я в пруд в своем саду*

(Или в чужом — в любом саду довольно

И нор угрей, и лун в воде), *мне мнится,*

*Я вижу Нечто с граблями — оно*

Там, в тине, в имманентности, в мерцанье

Небесных лун-угрей *в меня все метит*  —

В меня — святого, дивного! И все же,

*Коль совесть нечиста — что за докука!*

Не лучше, впрочем, и когда чиста.

Что ж удивляться, если пруд ужасный

На грабли тянет нас? И Нечто бьет,

И я, неловкий человек, в грязи

Иль в жидком лунном свете, благодарно

Других отыскиваю, чтоб слепую

Иль ослепительную жизнь влачить.

Наплыв: средним планом доктор Пул, спящий на песке, нанесенном ветром к подножию высокой бетонной стены. В двадцати футах от него спит один из охранников. Другой поглощен чтением старинного экземпляра «Вечного янтаря». Солнце уже высоко. Крупный план: маленькая зеленая ящерка забирается на откинутую руку доктора Пула. Он лежит неподвижно, как мертвый.

###### Рассказчик

Это блаженствующее существо явно не доктор биологии Алфред Пул. Ведь сон — это одно из непременных условий переселения душ, первейшее орудие божественной имманентности. Когда мы спим, мы перестаем жить и вместо нас живет (да еще как счастливо!) безымянный Некто, который пользуется возможностью, чтобы восстановить ясность ума, а также исцелить заброшенное и измученное самим собою тело.

От завтрака до отхода ко сну вы можете любым доступным вам способом насиловать природу и отрицать факт существования вашей безликой сущности. Но даже самая рассерженная обезьяна устает в конце концов корчить рожи — ей нужен сон. И пока она спит, живущее в ней сострадание хочешь не хочешь защищает ее от самоубийства, которое она с таким неистовым рвением пыталась совершить в часы бодрствования. Но солнце встает опять, наша обезьяна опять просыпается и возвращается к своей личности и свободе волеизъявления — к еще одному дню ужимок и гримас или, если она того захочет, к началу самопознания, к первым шагам к освобождению.

Переливы возбужденного женского смеха прерывают Рассказчика. Спящий вздрагивает, а после второго, более громкого взрыва смеха просыпается, садится и в замешательстве оглядывается вокруг, не соображая, где он. Опять звучит смех. Проснувшийся оборачивается.

Дальний план с точки, где он сидит: две его темнокожие ночные подруги вылетают из-за дюны и мгновенно исчезают в развалинах музея. Храня сосредоточенное молчание, их по пятам преследует вождь. Все трое скрываются из виду.

Спящий послушник просыпается и поворачивается к своему напарнику.

— Что там такое? — спрашивает он.

— Обычное дело, — отзывается тот, не отрываясь от «Вечного янтаря».

В этот миг в пустынных залах музея раздаются пронзительные вопли. Послушники смотрят друг на друга, потом сплевывают в унисон.

В кадре опять доктор Пул.

— Боже мой! Боже мой! — громко стонет он и закрывает лицо руками.

###### Рассказчик

В пресыщенность этого утра, наступившего после того, что было вчера, впусти терзающую тебя совесть и принципы, впитанные тобою, когда ты сидел у матери на коленях, а то и лежал на них (головой вниз и с задранным подолом рубашонки), получая заслуженную порку, производимую печально и набожно, но вспоминавшуюся тобой — ирония судьбы! — как предлог и аккомпанемент бесчисленных эротических снов наяву, за которыми, естественно, следовали угрызения совести, а они, в свою очередь, влекли за собою мысль о наказании со всеми сопутствующими ощущениями. И так далее, до бесконечности. Так вот, как я уже говорил, впусти одно в другое, и в результате ты скорее всего обратишься в иную веру. Но в какую? Совершенно не понимая, в чем он теперь убежден, наш бедный герой этого не знает. А вот идет человек, от которого он в последнюю очередь может ждать каких-либо объяснений.

При последних словах Рассказчика в кадре появляется Лула.

— Алфи! — радостно восклицает она. — Я тебя искала.

На несколько секунд в кадре появляются послушники: бросив на нее взгляд, полный омерзения, вызванного вынужденным воздержанием, они сплевывают.

Тем временем, взглянув на «желанья утоленного черты», доктор Пул виновато отводит глаза.

— Доброе утро, — в полном соответствии с этикетом говорит он. — Надеюсь... ты спала хорошо?

Лула присаживается рядом с ним, открывает кожаную сумку, которую носит на плече, и достает оттуда полбуханки хлеба и с полдюжины крупных апельсинов.

— В эти дни никто ничего не готовит, — объясняет она. — Один большой пикник, пока не наступят холода.

— О да, безусловно, — отвечает доктор Пул.

— Ты, наверно, ужасно голоден, — продолжает Лула. — После прошлой ночи.

Она улыбается, и ямочки вылезают из укрытия.

От смущения доктора Пула бросает в жар, он вспыхивает и пытается сменить тему:

— Хорошие апельсины. В Новой Зеландии они растут плохо, разве что на самом...

— Держи! — прерывает его Лула.

Она протягивает ему краюху хлеба, отламывает такую же себе и впивается в нее крепкими белыми зубами.

— Вкусно, — с набитым ртом говорит она. — Почему не ешь?

Доктор Пул, который вдруг почувствовал, что голоден как волк, но для сохранения приличий не желает признаваться в этом, изящно отщипывает кусочек корочки.

Лула прижимается к ботанику и кладет голову ему на плечо.

— Здорово было, правда, Алфи? — Она откусывает кусок хлеба и, не дожидаясь ответа, продолжает: — С тобой гораздо лучше, чем с другими. Тебе тоже так показалось?

Она бросает на него нежный взгляд.

Крупный план с места, где сидит Лула: лицо доктора Пула, выражающее мучительную неловкость.

— Алфи! — восклицает она. — Что случилось?

— Поговорим лучше о чем-нибудь другом, — в конце концов выдавливает он.

Лула выпрямляется и несколько секунд молча, внимательно разглядывает его.

— Ты слишком много думаешь, — изрекает она наконец. — Думать не надо. Если думаешь, то здорово уже не получится. — Внезапно лицо ее темнеет и она тихо продолжает: — Если думаешь, это ужасно, ужасно. Ужасно попасть в руки Живого Зла. Когда я вспомню, что они сделали с Полли и ее малышом...

Лула вздрагивает, глаза ее наполняются слезами, и она отворачивается.

###### Рассказчик

И опять эти слезы, этот признак личности — при виде их появляется сочувствие, которое сильнее, чем чувство вины.

Позабыв про послушников, доктор Пул притягивает Лулу к себе и, пытаясь ее утешить, что-то шепчет, гладит ее, словно успокаивая плачущего ребенка. Ему это удается: через несколько минут Лула уже лежит у него на руке. Умиротворенно вздохнув, она открывает глаза, смотрит на него и улыбается с нежностью, к которой ямочки добавляют капельку восхитительного озорства.

— Об этом я мечтала всегда.

— Правда?

— Но такого со мной никогда не было — не могло быть. Пока не пришел ты... — Она проводит рукой по его щеке и продолжает: — Вот было бы хорошо, если бы у тебя не росла борода. А то ты будешь похож на других. Но ты не такой, как они, ты совсем на них не похож.

— Не так уж и не похож, — говорит доктор Пул.

Нагнувшись, он целует глаза девушки, ее шею, губы, затем выпрямляется и смотрит на нее с выражением торжествующей мужественности.

— Не тем не похож, а этим, — поясняет она, снова похлопав его по щеке. — Мы с тобой сидим, разговариваем, и мы счастливы, потому что ты — это ты, а я — это я. Такого тут не бывает. Разве что... — Она замолкает, и лицо ее темнеет. — Ты знаешь, что бывает с людьми, которых называют «бешеными»? — спрашивает она шепотом.

На этот раз приходит очередь доктора Пула сказать, что, мол, не надо слишком много думать. Свои слова он подкрепляет действиями.

Объятия крупным планом. Затем камера переходит на послушников, с отвращением наблюдающих за сценой. Когда они сплевывают, в кадр входит еще один послушник.

— Приказ его высокопреосвященства, — объявляет он и делает пальцами рожки. — Это задание отменяется. Вам велено возвращаться в центр.

Наплыв: корабль «Кентербери». Раненого матроса, из плеча у которого все еще торчит стрела, обвязали тросом и поднимают из вельбота на палубу шхуны. Там уже лежат две другие жертвы калифорнийских лучников — доктор Кадворт, раненный в левую ногу, и мисс Хук. У девушки в правом боку глубоко засела стрела. Врач с мрачным видом наклоняется над ней.

— Морфий, — приказывает он санитару. — И поскорее в операционную.

Тем временем звучат громкие слова команды, и мы внезапно слышим стук вспомогательного двигателя и лязг якорной цепи, наматывающейся на шпиль.

Этель Хук открывает глаза и осматривается. На ее бледном лице появляется выражение отчаяния.

— Неужели вы собираетесь уйти и оставить его здесь? — спрашивает она. — Это невозможно! — Девушка пытается приподняться на носилках, но движение причиняет ей такую боль, что она со стоном падает назад.

— Тише, тише, — успокаивает врач, протирая ей руку спиртом.

— Но ведь он, может быть, еще жив, — слабо протестует Этель. — Мы не должны бросать его, не должны умывать руки.

— Лежите тихо, — говорит врач и, взяв у санитара шприц, вводит иглу ей в руку.

Под все усиливающийся грохот якорной цепи наплыв: Лула и доктор Пул.

— Есть хочется, — садясь, говорит Лула.

Взяв сумку, она вынимает остатки хлеба, разламывает его на две части, большую отдает доктору Пулу, а сама откусывает от меньшей. Прожевав, собирается откусить еще, но передумывает. Повернувшись к своему другу, она берет его за руку и целует ее.

— Это еще зачем? — спрашивает доктор Пул.

Лула пожимает плечами:

— Не знаю. Просто вдруг захотелось. — Она съедает еще немного хлеба, затем, задумчиво помолчав, поворачивается к Пулу с видом человека, который внезапно совершил важное и неожиданное открытие: — Алфи, мне кажется, я никогда больше не скажу «да» никому, кроме тебя.

Доктор Пул глубоко тронут, он наклоняется и прижимает руку девушки к своему сердцу.

— По-моему, я только сейчас понял, что такое жизнь, — говорит он.

— Я тоже.

Лула прижимается к нему, и, словно скупец, которого все время тянет пересчитывать свои сокровища, доктор Пул запускает пальцы в ее волосы, отделяет прядь за прядью, поочередно поднимает локоны, беззвучно падающие назад.

###### Рассказчик

Вот так, согласно диалектике чувства, эти двое вновь открыли для себя тот синтез химического и личного, который мы называем моногамией или романтической любовью. Раньше у Лулы гормоны исключали личность, а у доктора Пула личность никак не могла прийти в согласие с гормонами. Теперь начинает появляться великое единство.

Доктор Пул засовывает руку в карман и вытаскивает томик, спасенный им вчера от сожжения. Он открывает его, листает и принимается читать вслух:

Стекает аромат с ее волос,

С ее одежд, и если развилось

Кольцо на лбу у ней — благоуханье

Пронзает ветра встречного дыханье,

Душа же источает дух лесной

И дикий, как у соков, что весной

Кипят, в застывших почках созревая.

— Что это? — спрашивает Лула.

— Это ты! — Доктор Пул наклоняется и целует ее волосы. — «Душа же источает дух лесной и дикий...» Душа, — шепотом повторяет он.

— Что такое душа? — спрашивает Лула.

— Это... — Он замолкает, потом, решив предоставить ответ Шелли, продолжает читать:

Так, смертная, стоит она, являя

Собой любовь, свет, жизнь и божество.

Всегда сиять в ней будет волшебство,

Свет вечности, благое торжество,

Что третьей сфере не дает покоя,

Мечты в ней отраженье золотое

И отсветы немеркнущей любви...

— Но я ни слова не поняла, — жалуется Лула.

— До сегодняшнего дня я тоже не понимал, — с улыбкой отзывается доктор Пул.

Наплыв: «Греховная Греховных» две недели спустя. Несколько сот бородатых мужчин и неряшливых женщин стоят в двух параллельных очередях ко входу в святилище. Камера проходит по веренице угрюмых, грязных лиц и останавливается на Луле и докторе Пуле, которые как раз проходят в раздвижную дверь.

Внутри мрачно и тихо. Те, кто еще два дня назад были нимфами и скачущими сатирами, пара за парой, шаркая ногами, уныло движутся мимо алтаря, мощная свеча на котором уже погашена с помощью жестяного колпачка. У подножия пустующего трона архинаместника лежит груда сброшенных седьмых заповедей. По мере того как процессия проходит мимо, архимандрит, отвечающий за общественную нравственность, протягивает каждому мужчине фартук, а женщине — фартук и четыре круглые заплатки.

— Выход через боковую дверь, — всякий раз повторяет он.

В эту дверь покорно выходят и Лула с доктором Пулом, когда подходит их очередь. Снаружи, на солнышке, десятка два послушников не покладая рук действуют иголками и нитками, пришивая фартуки к поясам, а заплатки — сзади к штанам и спереди к рубахам.

Камера задерживается на Луле. К ней подходят три молодых семинариста в тогенбургских сутанах. Одному она подает фартук, двум другим — заплаты. Все трое принимаются за дело — одновременно и невероятно проворно. «Нет», «нет» и «нет».

— Повернитесь, пожалуйста.

Передав остальные заплатки, девушка повинуется, и пока специалист по фартукам отходит, чтобы обслужить доктора Пула, другие два работают иглами до того усердно, что уже через полминуты Лула становится столь же недоступной сзади, сколь и спереди.

— Есть!

— Готово!

Портняжки из духовных расступаются; крупным планом — дело их рук: «нет», «нет». В кадре снова послушники: сплюнув в унисон, они дают тем самым выход своим чувствам и поворачиваются к дверям святилища:

— Следующая леди, пожалуйста.

С выражением крайнего уныния на лицах вперед выходят две неразлучные мулатки.

В кадре снова доктор Пул. В фартуке и с двухнедельной бородкой он подходит к ожидающей его Луле.

— Сюда, пожалуйста, — раздается пронзительный голос.

Они молча становятся в другую очередь. В ней несколько сотен людей покорно ожидают, когда им даст назначение старший помощник великого инквизитора, отвечающий за общественные работы. С тремя рогами, облаченный во внушительную занскую сутану, великий человек вместе с двумя двурогими служками сидит за большим столом, на котором стоят несколько картотечных шкафчиков, спасенных из конторы страховой компании «Провидение».

Двадцатисекундная монтажная композиция: Лула и доктор Пул в течение часа медленно приближаются к источнику власти. И вот наконец их очередь. Крупный план: специальный помощник великого инквизитора приказывает доктору Пулу явиться в развалины административного корпуса Университета Южной Калифорнии к директору по производству продуктов питания. Этот джентльмен позаботится о том, чтобы ботаник получил лабораторию, участок земли для опытов и до четырех человек для неквалифицированной работы.

— До четырех человек, — повторяет священнослужитель, — хотя обычно...

— Ох, разрешите, я пойду туда работать, — без спроса вмешивается Лула. — Прошу вас.

Специальный помощник великого инквизитора бросает на нее испепеляющий взгляд и поворачивается к служкам:

— А это еще что за юный сосуд Нечистого духа, скажите на милость?

Один из служек достает из картотеки карточку Лулы и сообщает необходимую информацию. Сосуд восемнадцати лет от роду, пока стерилен, есть сведения, что был замечен в связи в неположенное время с одним из печально известных «бешеных», который позже был ликвидирован при попытке сопротивления аресту. Однако вина указанного сосуда доказана не была, его поведение, в общем, удовлетворительно. В прошлом году упомянутый сосуд использовался на раскопке кладбищ, в следующий сезон должен быть использован так же.

— Но я хочу работать с Алфи, — возражает Лула.

— Ты, кажется, забываешь, что у нас демократия, — вмешивается первый служка.

— Демократия, — добавляет его коллега, — при которой каждый пролетарий пользуется неограниченной свободой.

— Подлинной свободой.

— Свободно исполняя волю пролетариата.

— A vox proletariatus, vox Diaboli[[20]](#footnote-20).

— Тогда как, разумеется, vox Diaboli, vox Ecclesiae[[21]](#footnote-21).

— А мы здесь как раз и представляем церковь.

— Так что сама понимаешь.

— Но я устала от кладбищ, — настаивает девушка. — Мне бы для разнообразия выкапывать что-нибудь живое.

Следует короткое молчание. Затем специальный помощник великого инквизитора наклоняется и, достав из-под стула весьма внушительную освященную воловью жилу, кладет ее перед собою на стол. Повернувшись к своим подчиненным, он произносит:

— Поправьте меня, если я ошибусь, но, насколько мне известно, всякому сосуду, отвергающему пролетарскую свободу, полагается двадцать пять ударов за каждый проступок такого рода.

Снова наступает молчание. Бедная Лула широко раскрытыми глазами смотрит на орудие наказания, затем отводит взгляд, пытается что-то сказать, с трудом сглатывает слюну и снова пробует раскрыть рот.

— Я не возражаю, — наконец выдавливает она. — Я действительно хочу свободы.

— Свободы отправляться раскапывать кладбища?

Девушка кивает.

— Достойный сосуд! — хвалит специальный помощник.

Лула поворачивается к доктору Пулу; несколько секунд они молча смотрят друг другу в глаза.

— До свидания, Алфи, — наконец шепчет она.

— До свидания, Лула.

Проходит еще несколько секунд, после чего девушка опускает глаза и уходит.

— А теперь, — обращается к доктору Пулу специальный помощник, — можно вернуться к делу. Как я уже говорил, в обычное время больше двух рабочих вам не дали бы. Я выражаюсь ясно?

Доктор Пул наклоняет голову.

Наплыв: лаборатория, в которой второкурсники Университета Южной Калифорнии изучали когда-то основы биологии. Оборудована лаборатория как обычно: раковины, столы, бунзеновские горелки, весы, клетки для мышей и морских свинок, аквариумы для головастиков. Однако все здесь покрыто толстым слоем пыли, на полу валяется с полдюжины скелетов с полуистлевшими остатками штанов, свитеров, нейлоновых чулок, бюстгальтеров и дешевых побрякушек.

Дверь отворяется; входит доктор Пул в сопровождении директора по производству продуктов питания — пожилого седобородого человека в домотканых штанах, стандартном фартуке и визитке, принадлежавшей когда-то какому-нибудь англичанину-дворецкому, служившему у администратора киностудии.

— Боюсь, тут немного грязно, — извиняющимся тоном говорит директор. — Но я сегодня же днем велю убрать эти кости, а завтра сосуды-поденщицы вытрут столы и вымоют пол.

— Конечно, конечно, — отвечает доктор Пул.

Наплыв: это же помещение неделю спустя.

Скелеты убраны, и попечением сосудов-поденщиц пол, стены и мебель почти чисты. У доктора Пула трое высокопоставленных посетителей. Архинаместник, с четырьмя рогами и в коричневом англонубийском одеянии Общества Молоха, сидит рядом с вождем, который облачен в сверкающий медалями мундир контр-адмирала военно-морского флота Соединенных Штатов, недавно извлеченный из могилы в Форест-Лоун. В почтительном отдалении и несколько сбоку от глав церкви и государства сидит директор по производству пищевых продуктов, все еще выряженный дворецким. Лицом к ним, в позе французского академика, готовящегося прочесть свое последнее творение кружку избранных и привилегированных слушателей, сидит доктор Пул.

— Можно начинать? — осведомляется он.

Главы церкви и государства смотрят друг на друга, затем поворачиваются к доктору Пулу и одновременно кивают.

— «Заметки об эрозии почв и патологии растений в Южной Калифорнии, — громко начинает доктор Пул. — С предварительным отчетом о положении сельского хозяйства и планом его будущего совершенствования. Подготовлено доктором наук Алфредом Пулом, адъюнктом кафедры ботаники Оклендского университета».

По мере того как он читает, в кадре появляется наплыв: склон у подножия гор Сан-Габриэль. Если не считать нескольких торчащих тут и там кактусов, это мертвая, искореженная земля, залитая солнцем. Склон изборожден сетью оврагов. Некоторые из них пока еще в начальной стадии эрозии, другие уже глубоко врезались в землю. Над одним из этих странной формы каньонов угрожающе нависает когда-то прочный дом, теперь уже частично обрушившийся. У подножия холма, на равнине, стоят мертвые каштаны наполовину в высохшей грязи, которая залила их в период дождей. За кадром слышится громкий, монотонный голос доктора Пула:

— При подлинном симбиозе наблюдается взаимополезное сосуществование связанных между собою организмов. Паразитизм же заключается в том, что один организм живет за счет другого. Такая однобокая форма сосуществования в конце концов оказывается гибельной для обеих сторон: смерть хозяина неизбежно приводит к смерти паразита, который и убил своего хозяина. Современный человек и планета, хозяином которой он еще недавно себя считал, сосуществуют не как партнеры по симбиозу, а как ленточный червь и собака, как грибок и зараженная им картофелина.

В кадре снова вождь. В дебрях его курчавой черной бороды в мощнейшем зевке открывается красногубый рот. За кадром доктор Пул продолжает читать:

— Игнорируя очевидный факт, что подобное расточение природных ресурсов в конечном счете приведет к гибели его цивилизации и даже к исчезновению всего людского рода, современный человек поколение за поколением продолжал использовать землю так, что...

— А покороче нельзя? — осведомляется вождь.

Для начала доктор Пул оскорбляется. Затем, вспомнив, что он осужденный на смерть пленник, проходящий испытание у дикарей, выдавливает нервную улыбку.

— Возможно, будет лучше, если мы прямо перейдем к разделу о патологии растений, — предлагает он.

— Мне плевать, — отзывается вождь, — главное, чтоб покороче.

— Нетерпеливость, — сентенциозно пищит архинаместник, — один из наиболее почитаемых Велиалом пороков.

Тем временем доктор Пул пролистывает несколько страниц и снова принимается за чтение:

— При существующем состоянии почвы урожай с квадратного акра будет ненормально низким, даже если бы основные пищевые культуры были совершенно здоровыми. Но они не здоровы. Оценив урожай на полях, исследовав зерно, плоды и клубни, находящиеся в хранилищах, изучив образцы растений с помощью незначительно поврежденного микроскопа, изготовленного еще до Этого, я пришел к выводу, что количество и разнообразие болезней растений, свирепствующих в данном районе, можно объяснить лишь одним: намеренным заражением культур посредством применения грибковых бомб, бактериологических аэрозолей и выбросов зараженной вирусом тли и других насекомых. Как иначе объяснить распространение и необычайную вирулентность таких микроорганизмов, как Giberella Saubinettii и Puccinia graminis? А вирусные мозаичные болезни? A Bacillus amylovorus, Bacillus carotovorus Pseudomonas citri, Pseudomonas tumefasiens, Bacterium[[22]](#footnote-22)...

Архинаместник прерывает перечисление, которое делает доктор Пул.

— А вы еще утверждаете, что люди не одержимы Велиалом! — восклицает он, качая головой. — Невероятно, до какой степени предубеждение может ослепить даже самых умных и высокообразованных...

— Да, да, это все мы слышали, — нетерпеливо перебивает его вождь. — Хватит болтать, ближе к делу! Что вы против всего этого можете предпринять?

Доктор Пул откашливается:

— Работа предстоит долгая и весьма трудоемкая.

— Но мне нужно больше еды сейчас, — безапелляционно заявляет вождь. — Уже в этом году.

Предчувствуя недоброе, доктор Пул волей-неволей объясняет, что болезнеустойчивые разновидности растений можно вывести и испытать лет за десять-двенадцать. А ведь остается еще вопрос с землей: эрозия разрушает ее, эрозию нужно остановить любой ценой. Но террасирование, осушение и компостирование земли — это огромный труд, которым нужно заниматься непрерывно, год за годом. Даже в прежние времена людям не удавалось сделать все необходимое для сохранения плодородности почвы.

— Это не потому, что они не могли, — вмешивается архинаместник. — Так было потому, что они не хотели. Между второй и третьей мировыми войнами у людей имелось и необходимое время, и оборудование. Но они предпочли забавляться игрой в политику с позиции силы, и что в итоге? — Отвечая на свой вопрос, архинаместник загибает толстые пальцы: — Растущее недоедание. Все большая политическая нестабильность. И в конце концов — Это. А почему они предпочли уничтожить себя? Потому что такова была воля Велиала, потому что Он овладел...

Вождь протестующе поднимает руки:

— Ладно, ладно. Это не лекция по апологетике или натуральной демонологии. Мы пытаемся что-нибудь сделать.

— А работа, к сожалению, займет немало времени, — говорит доктор Пул.

— Сколько?

— Значит, так. Лет через пять можно обуздать эрозию. Через десять будет ощутимое улучшение. Через двадцать какая-то часть вашей земли вернет плодородие процентов на семьдесят. Через пятьдесят...

— Через пятьдесят лет, — перебивает его архинаместник, — число уродств у людей по сравнению с нынешним удвоится. А через сто лет победа Велиала будет окончательной. Окончательной! — с детским смешком повторяет он, затем показывает рожки и встает. — Но пока я за то, чтобы этот джентльмен делал все, что может.

Наплыв: голливудское кладбище. Камера проезжает мимо надгробий, с которыми мы познакомились в предыдущее посещение.

Средний план: статуя Гедды Бодди. Камера проезжает сверху вниз по изваянию, пьедесталу и надписи.

«Всеми признанная любимица публики номер один. „Впряги звезду в свою колесницу“.

За кадром слышится звук втыкаемой в почву лопаты и шуршание песка и гравия, когда землю отбрасывают в сторону.

Камера отъезжает, и мы видим Лулу, которая, стоя в трехфутовой яме, устало копает.

Звук шагов заставляет ее поднять голову. В кадре появляется Флосси, уже знакомая нам толстушка.

— Как идет, нормально? — спрашивает она.

Вместо ответа Лула кивает и тыльной стороной ладони утирает лоб.

— Когда дойдешь до жилы, дай нам знать, — требует толстушка.

— Это будет не раньше чем через час, — угрюмо отвечает Лула.

— Ничего, детка, не сдавайся, — утешает Флосси с приводящей в бешенство сердечностью человека, стремящегося подбодрить товарища. — Приналяг, докажи им, что сосуд может сделать не меньше мужчины! Если будешь хорошо работать, — бодро продолжает она, — может, надзиратель разрешит тебе взять нейлоновые чулки. Смотри, какие мне достались сегодня утром!

Флосси вытаскивает из кармана желанный трофей. Не считая некоторой зелени в районе носка, чулки в превосходном состоянии.

— Ах! — с завистью и восхищением вскрикивает Лула.

— А вот с драгоценностями нам не повезло, — пряча чулки, жалуется Флосси. — Только обручальное кольцо да паршивый браслет. Ладно, будем надеяться, эта не подведет. — Толстушка похлопывает по мраморному животу «любимицы публики номер один». — Ну, мне пора назад. Мы откапываем сосуд, похороненный под красным каменным крестом. Знаешь, такой высокий крест у северных ворот.

Лула кивает и говорит:

— Как только лопата упрется, я за вами приду.

Насвистывая песенку «Гляжу на дивные рога», толстушка выходит из кадра. Лула вздыхает и снова принимается копать.

Чей-то голос необычайно нежно произносит ее имя. Она резко вздрагивает и оборачивается на звук.

Средний план с точки, где стоит Лула: доктор Пул осторожно выходит из-за гробницы Родольфо Валентино.

В кадре снова Лула. Она вспыхивает, потом делается мертвенно-бледной. Рука ее прижимается к сердцу.

— Алфи, — шепчет она.

Доктор Пул входит в кадр, спрыгивает к ней в яму и, ни слова не говоря, обнимает девушку. Их поцелуй полон страсти. Затем она утыкается лицом ему в плечо.

— Я думала, что никогда больше тебя не увижу, — прерывающимся голосом говорит Лула.

— За кого ты меня принимаешь?

Ботаник опять целует ее, потом, отодвинув девушку от себя, вглядывается ей в лицо.

— Ты почему плачешь? — спрашивает он.

— Ничего не могу с собой поделать.

— Оказывается, ты еще красивее, чем мне запомнилась.

Не в силах говорить, Лула качает головой.

— Улыбнись, — велит доктор Пул.

— Не могу.

— Улыбнись, улыбнись. Я хочу снова их увидеть.

— Что увидеть?

— Улыбнись!

Лула улыбается — вымученно, но в то же время нежно и страстно. Ямочки на щеках пробуждаются от долгой печальной спячки.

— Вот они! — в восторге кричит он. — Вот они!

Осторожно, словно слепой, читающий Геррика по системе Брайля, доктор Пул проводит пальцами по ее щеке. Лула улыбается уже не так вымученно; под его прикосновением ямочки становятся глубже. Он радостно смеется.

Насвистываемая кем-то за кадром мелодия «Гляжу на дивные рога» от далекого pianissimo переходит к piano, потом к mezzo forte[[23]](#footnote-23). На лице у Лулы появляется ужас.

— Быстрей, быстрей! — шепчет она.

С поразительным проворством доктор Пул выкарабкивается из ямы.

К тому времени, как толстушка снова появляется в кадре, он стоит, с хорошо выверенной небрежностью прислонившись к памятнику «любимицы публики номер один». Внизу, в яме, Лула копает как одержимая.

— Забыла тебе сказать: через полчаса у нас перерыв на завтрак, — начинает Флосси, но, увидев доктора Пула, удивленно вскрикивает.

— Доброе утро, — учтиво говорит доктор Пул. Наступает молчание. Флосси переводит взгляд с доктора Пула на Лулу и обратно.

— А что вы тут делаете? — подозрительно осведомляется она.

— Зашел по пути в собор Святого Азазела, — отвечает он. — Архинаместник велел мне передать, что хочет, чтобы я присутствовал на трех его лекциях для семинаристов. Тема — «Велиал в истории».

— Интересно вы идете к собору.

— Я искал вождя, — объясняет доктор Пул.

— Его здесь нет, — говорит толстушка.

Снова наступает молчание.

— В таком случае я пошел, — заявляет наконец доктор Пул. — Не стану отрывать вас, юные леди, от ваших занятий, — добавляет он с деланой и совершенно неубедительной бодростью. — Будьте здоровы. Будьте здоровы.

Он кланяется девушкам и, напустив на себя беспечный вид, уходит. Флосси молча смотрит ему вслед, потом строго говорит Луле:

— Послушай-ка, детка...

Лула перестает копать и поднимает голову.

— В чем дело, Флосси? — невинно спрашивает она.

— В чем дело? — насмешливо переспрашивает та. — Скажи-ка, что написано у тебя на фартуке?

Лула смотрит на фартук, потом на Флосси. От смущения лицо ее краснеет.

— Так что же там написано? — настаивает толстушка.

— «Нет»!

— А на этих заплатах?

— «Нет»! — повторяет Лула.

— А на других, сзади?

— «Нет»!

— «Нет, нет, нет, нет», — многозначительно произносит толстушка. — Когда закон говорит «нет», значит, нет. Ты знаешь это не хуже меня, не так ли?

Лула молча кивает.

— Скажи, знаешь или нет? — настаивает Флосси. — Вслух скажи.

— Да, знаю, — едва слышно выдавливает в конце концов Лула.

— Прекрасно. Тогда не прикидывайся, что тебя не предупредили. И если этот чужак — «бешеный» будет еще тут околачиваться, скажи мне. Уж я-то с ним разберусь.

Наплыв: собор Святого Азазела изнутри. Бывший храм Пресвятой Марии Гваделупской претерпел лишь небольшие внешние изменения. Стоящие в боковых нефах гипсовые фигуры святого Иосифа, Марии Магдалины, святого Антония Падуанского и святой Розы Лимской просто-напросто выкрашены в красный цвет и снабжены рогами. На алтаре все осталось без изменений, только распятие уступило место паре огромных рогов, вырезанных из кедра и увешанных кольцами, наручными часами, браслетами, цепочками, серьгами и ожерельями, отрытыми на кладбищах и снятыми со скелетов или взятыми из заплесневелых останков шкатулок для драгоценностей.

Посреди собора сидят, опустив головы, человек пятьдесят семинаристов в тогенбургских одеяниях и вместе с ними доктор Пул, которому борода и твидовый костюм придают нелепый вид; архинаместник произносит заключительные слова лекции:

— Ибо, как могли они, если бы пожелали, жить по заведенному порядку, так, живя по Велиалу, все они осуждены и неизбежно будут осуждены на смерть. Аминь.

Долгое молчание. Наконец встает наставник послушников. Громко шурша мехом, семинаристы следуют его примеру и парами чинно направляются к западному входу.

Доктор Пул, уже собравшийся было идти за ними, слышит, как его окликает по имени высокий детский голосок. Обернувшись, он видит архинаместника, который подзывает его, стоя на ступенях престола.

— Ну как вам понравилась лекция? — скрипит великий человек подошедшему доктору Пулу.

— Замечательно!

— Вы не льстите?

— Нет, честно и откровенно.

Архинаместник радостно улыбается.

— Счастлив слышать, — говорит он.

— Особенно мне понравилось то, что вы сказали о религии в девятнадцатом и двадцатом веках — об отходе от Иеремии к Книге Судей, от личного и поэтому всеобщего к национальному и поэтому междоусобному.

Архинаместник кивает:

— Да, тогда все висело на волоске. Если бы люди держались личного и всеобщего, они жили бы в согласии с заведенным порядком и с Повелителем Мух было бы покончено. Но, по счастью, у Велиала множество союзников — нации, церкви, политические партии. Он воспользовался их предубеждениями. Он заставил идеологию работать на себя. К тому времени, когда люди создали атомную бомбу, он повернул их умонастроения вспять, и они стали такими, какими были перед девятисотым годом до Рождества Христова.

— И еще, — продолжает доктор Пул, — мне понравилось то, что вы сказали относительно контактов между Востоком и Западом — как Он заставил каждую сторону взять худшее из того, что мог предложить партнер. И вот Восток взял западный национализм, западное вооружение, западное кино и западный марксизм, а Запад — восточный деспотизм, восточные предрассудки и восточное безразличие к жизни индивидуума. Короче, Он проследил, чтобы человечество прогадало и тут, и там.

— Вы только представьте, что было бы, если бы произошло обратное! — пищит архинаместник. — Восточный мистицизм следит за тем, чтобы западная наука использовалась как надо, восточное искусство жить облагораживает западную энергию, западный индивидуализм сдерживает восточный тоталитаризм. — В благоговейном ужасе архинаместник качает головой. — Да это был бы просто рай земной! К счастью, благодать Велиала оказалась сильнее благодати того, другого.

Архинаместник визгливо хихикает, затем, положив руку на плечо доктора Пула, идет с ним к ризнице.

— Знаете, Пул, — говорит он, — я чувствую, что полюбил вас. — Доктор Пул смущенно бормочет слова благодарности. — Вы умны, хорошо образованы, знаете многое, о чем мы и понятия не имеем. Вы могли бы быть весьма мне полезны, а я со своей стороны — вам. Разумеется, если вы станете одним из нас, — добавляет он.

— Одним из вас? — неуверенно переспрашивает доктор Пул.

— Да, одним из нас.

Крупный план: лицо доктора Пула, который вдруг все понял. Он издает испуганное восклицание.

— Не скрою, — продолжает архинаместник, — что сопряженная с этим хирургическая операция не безболезненна и даже не лишена опасности. Однако преимущества, которые вы получите, войдя в число священнослужителей, столь велики, что сводят на нет незначительный риск и неудобства. Не следует также забывать...

— Но, ваше преосвященство... — пробует возразить доктор Пул.

Архинаместник останавливает его жестом пухлой, влажной руки.

— Минутку, — сурово говорит он.

Вид у него столь грозный, что доктор Пул спешит извиниться:

— Простите, пожалуйста.

— Пожалуйста, мой дорогой Пул, пожалуйста.

И снова архинаместник — сама любезность и снисходительность.

— Как я сказал, — продолжает он, — не следует забывать, что, пройдя, если можно так выразиться, физиологическое обращение, вы будете избавлены от искушений, которых, по всей вероятности, не избегнете, оставшись нормальной особью мужского пола.

— Конечно, конечно, — соглашается доктор Пул. — Но, уверяю вас...

— Когда речь идет об искушении, — сентенциозно заявляет архинаместник, — никто не вправе никого уверять в чем бы то ни было.

Доктор Пул вспоминает о недавнем разговоре с Лулой на кладбище и чувствует, что заливается краской.

— Не слишком ли огульно это утверждение? — без особой убежденности спрашивает он.

Архинаместник качает головой:

— В таких делах и речи не может быть об огульности. И позвольте напомнить вам, что происходит с теми, кто поддается подобным искушениям. Воловьи жилы и похоронная команда всегда наготове. Именно поэтому ради ваших же интересов, ради вашего будущего счастья и спокойствия духа я советую, нет, прошу, умоляю вас вступить в наши ряды.

Молчание. Доктор Пул с трудом сглатывает слюну.

— Я хотел бы подумать, — наконец говорит он.

— Разумеется, — соглашается архинаместник. — Не спешите. Можете думать неделю.

— Неделю? За неделю я не успею обдумать все как следует.

— Пусть будет две недели, — соглашается архинаместник, а когда доктор Пул отрицательно качает головой, добавляет: — Пусть будет хоть месяц, хоть полтора, если желаете. Я не тороплюсь. Я беспокоюсь только за вас. — Он похлопывает доктора Пула по плечу. — Да, дорогой мой, за вас.

Наплыв: доктор Пул работает на опытном участке — высаживает помидорную рассаду. Прошло почти полтора месяца. Его каштановая борода стала гораздо пышнее, а твидовый пиджак и брюки — гораздо грязнее по сравнению с прошлым его появлением в кадре. На нем серая домотканая рубаха и мокасины местного производства.

Посадив последний кустик, он выпрямляется, потягивается, потирает занемевшую спину, затем медленно идет в конец огорода, останавливается и задумчиво всматривается в пейзаж.

Дальний план: глазами доктора Пула мы видим широкую панораму брошенных фабрик и разваливающихся домов на фоне гор, которые хребет за хребтом уходят к востоку. Густо синеют островки тени; в ослепительном золотом свете отдаленные предметы кажутся маленькими, но очень резкими и отчетливыми, словно отраженные в выпуклом зеркале. На переднем плане почти горизонтальные солнечные лучи, точно резец осторожного гравера, открывают неожиданное богатство текстуры даже совершенно голых клочков выжженной земли.

###### Рассказчик

Бывают минуты — и это одна из таких минут, — когда мир кажется прекрасным, как нарочно, как будто все вокруг решило продемонстрировать тем, у кого открыты глаза, свою сверхъестественную реальность, которая лежит в основе всех внешних ее проявлений.

Губы доктора Пула шевелятся; мы слышим его шепот:

Любовь, восторг и красота

Под солнцем будут жить всегда.

Они сильнее нас — ведь мы

Не терпим света, дети тьмы.

Доктор Пул поворачивается и идет ко входу в сад. Прежде чем открыть калитку, он осторожно оглядывается вокруг. Вражеских соглядатаев не видно. Успокоившись, он выскальзывает из калитки и сразу сворачивает на тропинку, вьющуюся меж дюнами. Губы его снова шевелятся.

...Я — мать твоя Земля;

В моих холодных венах вплоть до жилки

Громаднейшего дерева, чьи листья

Дрожали в воздухе морозном, радость

Струилась, словно в человеке кровь,

Когда с груди моей ты тучей славной

Поднялся, радости чистейший дух.

С тропинки доктор Пул выходит на улочку; по ее сторонам стоят небольшие дома; рядом с каждым — свой гараж, вокруг каждого — клочок голой земли, бывший когда-то газоном или клумбой.

— «Радости чистейший дух», — повторяет доктор Пул и, вздохнув, качает головой.

###### Рассказчик

Радости? Но ведь радость давным-давно убита. Остался лишь хохот демонов, толпящихся вокруг позорных столбов, да вой одержимых, спаривающихся во тьме. Радость — она ведь только для тех, чья жизнь не противоречит заведенному в мире порядку. Для вас же, умников, которые считают, что порядок этот можно улучшить, для вас, сердитых, мятежных и непокорных, радость очень скоро становится незнакомкой. Те, кто обречен пожинать плоды ваших фантастических затей, не будут даже подозревать о ее существовании. Любовь, радость и мир — вот плоды духа, являющегося вашей сущностью и сущностью мира. А плоды обезьяньего склада ума, плоды мартышечьей самонадеянности и протеста — это ненависть, постоянное беспокойство и непрестанные беды, смягчаемые лишь еще более страшным безумием.

Тем временем доктор Пул продолжает бормотать на ходу:

Мир полон лесорубов, что грустящих

Дриад любви с дерев сгоняют жизни

И соловьев распугивают в чащах.

###### Рассказчик

Лесорубов с топорами, людей с ножами, убивающих дриад, людей со скальпелями и хирургическими ножницами, распугивающих соловьев.

Доктор Пул вздрагивает и ускоряет шаг, словно человек, почувствовавший за спиной чье-то недоброжелательное присутствие. Потом вдруг останавливается и снова оглядывается.

###### Рассказчик

В городе, вмещающем два с половиной миллиона скелетов, присутствие нескольких тысяч живых людей едва заметно. Ничто не шелохнется. Полная тишина среди этих уютных буржуазных развалин кажется нарочитой и даже несколько заговорщицкой.

Доктор Пул, пульс которого участился от надежды и страха перед разочарованием, сворачивает с улицы и идет по дорожке, ведущей к гаражу № 1993. Двери его открыты и болтаются на ржавых петлях. Доктор Пул входит в затхлый полумрак. Пробивающийся через дырочку в западной стене гаража тонкий карандашный луч закатного солнца падает на левое переднее колесо четырехдверного седана «Шевроле супер де люкс» и лежащие рядом на земле два черепа — один взрослый, другой, очевидно, детский. Ботаник открывает единственную незаклиненную дверцу машины и вглядывается в царящую внутри тьму.

— Лула!

Он залезает в машину, садится рядом с девушкой на заднее сиденье с разодранной обивкой и берет ее руку в свои ладони.

— Милая!

Лула молча смотрит на него. В глазах у нее выражение, граничащее с ужасом.

— Значит, тебе все же удалось улизнуть?

— Флосси что-то подозревает.

— Да черт с ней, с этой Флосси! — отвечает доктор Пул тоном, который, по его мнению, должен звучать беззаботно и успокоительно.

— Она задает всякие вопросы, — продолжает Лула. — Я сказала ей, что иду поискать иголки и ножи.

— А нашла только меня.

Он нежно улыбается и подносит ее руку к губам, но Лула качает головой:

— Алфи, прошу тебя!

В ее голосе звучит мольба. Так и не поцеловав, доктор Пул отпускает ее руку.

— И все же ты меня любишь, правда?

Глазами, широко открытыми от испуга и замешательства, она смотрит на него, потом отворачивается.

— Не знаю, Алфи, не знаю.

— А вот я знаю, — решительно говорит доктор Пул. — Знаю, что люблю тебя. Знаю, что хочу быть с тобой. Всегда. Пока смерть нас не разлучит, — добавляет он со всем пылом застенчивого сексуалиста, внезапно принявшего сторону реальности и моногамии.

Лула снова качает головой:

— Я знаю только, что не должна быть здесь.

— Что за чушь!

— Нет, не чушь. Я сейчас не должна быть здесь. И в другие разы не должна была приходить. Это против закона. Это в разлад со всем, что думают люди. Он этого не позволяет, — после секундной паузы добавляет она. На лице у нее появляется выражение крайнего отчаяния. — Но почему ж тогда Он создал меня такой, что я так отношусь к тебе? Почему Он создал меня наподобие этих... этих... — Она не в силах произнести мерзкое слово. — Я знала одного из них, — тихо продолжает она. — Он был милый, почти как ты. А потом они убили его.

— Что толку думать о других? — говорит доктор Пул. — Лучше подумаем о нас. Подумаем, как счастливы мы могли бы быть — и были — два месяца назад. Помнишь? Лунный свет... А каким темным был мрак! «Душа же источает дух лесной и дикий...»

— Но тогда мы не поступали дурно.

— И сейчас не поступаем.

— Нет, сейчас совсем не то.

— То же самое, — настаивает доктор Пул. — Я не чувствую никакой разницы. И ты тоже.

— Я чувствую, — возражает Лула не слишком громко и потому без убежденности.

— Нет, не чувствуешь.

— Чувствую.

— Нет. Ты только что сама сказала. Ты не такая, как остальные, слава Богу!

— Алфи!

Чтобы загладить вину, она делает рожки.

— Их превратили в животных, — продолжает он. — А тебя нет. Ты нормальный человек с нормальными человеческими чувствами.

— Нет.

— Да, не спорь.

— Это неправда, — стонет Лула, — неправда.

Она закрывает лицо руками и начинает плакать.

— Он убьет меня, — рыдает она.

— Кто убьет?

Лула поднимает голову и с опаской смотрит через плечо, в заднее стекло машины.

— Он. Он знает все, что мы делаем, все, даже то, что мы только думаем или чувствуем.

— Может, и знает, — говорит доктор Пул, чьи либерально-протестантские воззрения на Дьявола за последние недели существенно изменились. — Но если мы чувствуем, и думаем, и делаем правильно, Он нас не тронет.

— Но как это — правильно? — спрашивает Лула.

Несколько секунд он молча улыбается.

— Здесь и сейчас правильно вот что, — говорит наконец доктор Пул и, обняв Лулу за плечи, притягивает ее к себе.

— Нет, Алфи, нет!

Охваченная паникой, она пытается высвободиться, но он крепко держит ее.

— Вот это — правильно, — повторяет он. — Быть может, это правильно не всегда и не везде. Но здесь и сейчас — наверняка.

Он говорит сильно и очень убежденно. Еще никогда за всю его изменчивую и противоречивую жизнь ему не доводилось мыслить столь ясно и действовать столь решительно.

Лула внезапно уступает:

— Алфи, ты уверен, что это правильно? Совершенно уверен?

— Совершенно, — отвечает он с высоты нового для него чувства самоутверждения и с нежностью гладит ее волосы.

— «Так, смертная, — шепчет он, — она стоит, являя собой любовь, свет, жизнь и божество. Она — весны и утра воплощенье, она — младой апрель».

— Еще, — шепчет Лула.

Глаза ее закрыты, на лице выражение сверхъестественной безмятежности, какая бывает порой на лицах у мертвых.

Доктор Пул начинает опять:

Мы станем говорить, и дум напев,

В словах ненужных робко замерев,

Вновь оживет в проникновенных взорах,

Гармония беззвучная которых

Пронзает сердце. Мы с тобой сольем

Дыханье наше, грудь к груди прижмем,

Чтоб кровь забилась в унисон, а губы,

Не прибегая к звукам речи грубой,

Затмят слова, что жгли их так доныне;

Как с гор ручьи встречаются в долине,

Так, тихие покинув тайники,

Сольются наших жизней родники,

И станут страсти золотой струею,

И станем мы с тобой душой одною,

Живущей в двух телах... Зачем же в двух?

Долгое молчание. Внезапно Лула открывает глаза, несколько мгновений пристально смотрит на доктора Пула, потом обнимает его и жарко целует в губы. Но стоит ему прижать ее к себе чуть покрепче, как она вырывается и отодвигается на свой конец сиденья. Он пытается придвинуться, но она не пускает.

— Это не может быть правильно, — говорит она.

— Но это правильно.

Лула качает головой:

— Это слишком прекрасно, я была бы слишком счастлива, если бы так оно и было. А Он не хочет, чтобы мы были счастливы. — Пауза. — Почему ты сказал, что Он нас не тронет?

— Потому что есть кое-что посильнее Его.

— Посильнее? — Она качает головой. — Он все время боролся с этим — и победил.

— Только потому, что люди помогли ему победить. И не забывай, что победить раз и навсегда Он не может.

— Почему же?

— Потому что Он не может не поддаться искушению и не довести зло до предела. А когда зло доходит до предела, оно всегда уничтожает само себя. И после этого снова появляется обычный порядок вещей.

— Когда еще это будет...

— В масштабах всего мира и в самом деле не скоро. Однако для отдельных людей — тебя и меня, например, — хоть сейчас. Что бы Велиал ни сделал с остальным миром, мы с тобой всегда можем действовать во имя естественного порядка вещей, а не против него.

Снова наступает молчание.

— Мне кажется, я все же тебя не понимаю, — наконец говорит Лула, — но это не важно. — Она опять пододвигается ближе, кладет голову ему на плечо и продолжает: — Теперь для меня ничто не важно. Пускай Он убьет меня, если захочет. Это не имеет значения. Во всяком случае, сейчас.

Он берет ее лицо в ладони, приближает к своему, наклоняется для поцелуя, и в этот миг экран темнеет и превращается в безлунную ночь.

###### Рассказчик

L'ombre etait nuptiale, auguste et solennelle. Но на этот раз торжественность свадебной ночи не нарушается ни бешено-похотливыми воплями, ни Liebestod, ни саксофонными мольбами о детумесценции. Пропитавшая эту ночь музыка чиста, но не наглядна, точна и определенна, но лишь в отношении реальности, которой нет названия, всеобъемлюща и плавна, но не вязка, свободна от малейшей тенденции властно прилипать ко всему, до чего бы она ни дотронулась и что бы ни охватила. Это музыка, пронизанная духом Моцарта, хрупкая и радостная, несмотря на свою причастность к трагедии, музыка сродни веберовской, аристократичная и утонченная и тем не менее способная на безрассудное веселье, равно как и самое точное понимание мировых страданий. Нет ли в ней намека на то, что в «Ave Verum, Corpus»[[24]](#footnote-24) и в соль-минорном квинтете лежит вне пределов мира «Don Giovanni»[[25]](#footnote-25)? Нет ли тут намека на то, что уже (иногда у Баха и у Бетховена — в той конечной цельности искусства, которая сродни святости) выходит за пределы романтического сплава трагического и смешного, человеческого и демонического? И когда в темноте голос влюбленного снова шепчет слова: «...она стоит, являя собой любовь, свет, жизнь и божество», то не начинается ли уже здесь понимание того, что, кроме «Эпипсихидиона», есть еще и «Адонаис» и, кроме «Адонаиса», — беззвучная доктрина чистого сердца?

Наплыв: лаборатория доктора Пула. Солнечный свет льется сквозь высокие окна и ослепительно сияет на сделанном из нержавеющей стали тубусе микроскопа, стоящего на рабочем столе. Комната пуста.

Внезапно молчание нарушается звуком шагов, дверь открывается, и в лабораторию заглядывает директор по производству продуктов питания — все тот же дворецкий в мокасинах.

— Пул, — начинает он, — его высокопреосвященство пожаловали, чтобы...

Он останавливается, и на лице у него появляется удивление.

— Его тут нет, — говорит он архинаместнику, который вслед за ним входит в комнату.

Великий человек поворачивается к сопровождающим его двум служкам и приказывает:

— Посмотрите, может быть, доктор Пул на опытном участке.

Служки кланяются, скрипят в унисон: «Слушаюсь, ваше высокопреосвященство» — и уходят.

Архинаместник садится и изящным жестом приглашает директора последовать его примеру.

— Кажется, я вам еще не говорил, что пытаюсь убедить нашего друга принять постриг, — сообщает он.

— Я надеюсь, ваше высокопреосвященство не имеет в виду лишить нас его неоценимой помощи в деле производства продуктов питания, — взволнованно отзывается директор.

Архинаместник успокаивает собеседника:

— Я прослежу, чтобы у него всегда было время помочь вам дельным советом. Однако я хочу быть уверен, что его способности пойдут на пользу церкви.

Служки снова входят и кланяются.

— Ну?

— На участке его нет, ваше высокопреосвященство.

Архинаместник сердито хмурится, директор корчится под его взглядом.

— Вы как будто говорили, что в этот день он обычно работает в лаборатории?

— Так точно, ваше высокопреосвященство.

— Почему же его нет?

— Не представляю, ваше высокопреосвященство. Он никогда не менял расписания без моего ведома.

Молчание.

— Мне это не нравится, — сообщает наконец архинаместник. — Очень не нравится. — Он поворачивается к служкам: — Бегом в центр, отправьте полдюжины верховых на его поиски.

Служки кланяются, издают синхронный писк и исчезают.

— Что же касается вас, — повернувшись к перепуганному бледному директору, говорит архинаместник, — то, если что-нибудь случится, вы за это ответите.

Величественный и гневный, он поднимается и шествует к выходу.

Наплыв: монтажная композиция.

Лула со своей кожаной сумкой на плече и доктор Пул с ранцем, состоявшим на вооружении в армии еще до Этого, карабкаются через обвал, перегородивший одну из великолепно спроектированных автотрасс, которые еще бороздят отроги гор Сан-Габриэль.

Открытый всем ветрам гребень горы. Двое беглецов смотрят вниз, на необозримый простор пустыни Мохаве.

Следущий кадр: сосновый лес на северном склоне. Ночь. В пробивающейся сквозь кроны полосе лунного света доктор Пул и Лула спят, укрывшись домотканым одеялом.

Скалистое ущелье, по дну которого течет ручей. Любовники остановились: они пьют и наполняют водой бутылки.

А теперь мы в предгорьях, лежащих выше уровня пустыни. Идти среди кустиков полыни, зарослей юкки и можжевельника несложно. В кадр входят доктор Пул и Лула; камера следит, как они шагают по склону.

— Натерла ноги? — озабоченно спрашивает доктор Пул.

— Нет, ничего, — бодро улыбается Лула и качает головой.

— Думаю, нам нужно скоро делать привал и перекусить.

— Как скажешь, Алфи.

Он извлекает из кармана старинную карту и изучает ее на ходу.

— До Ланкастера еще миль тридцать, — говорит он. — Восемь часов ходу. Нужно подкрепиться.

— А как далеко мы будем завтра? — спрашивает Лула.

— Немного дальше Мохаве. А потом, по моим расчетам, нам потребуется не меньше двух дней, чтобы пересечь Техачапи и добраться до Бейкерсфилда. — Он засовывает карту в карман и продолжает: — Мне удалось выудить из директора довольно много всяких сведений. По его словам, на севере люди относятся весьма дружелюбно к беглецам из Южной Калифорнии. Не выдают их даже после официального запроса правительства.

— Слава Вел... то есть слава Богу! — восклицает Лула.

Снова наступает молчание. Вдруг Лула останавливается:

— Смотри! Что это?

Она протягивает руку, и с точки, где она стоит, мы видим невысокую юкку, а под ней — изъеденную ветрами бетонную плиту, которая нависла над старой могилой, заросшей сорной травой и гречихой.

— Здесь кто-то похоронен, — говорит доктор Пул.

Они подходят ближе; на плите, снятой крупным планом, мы видим надпись, которую читает за кадром доктор Пул:

###### Уильям Тэллис

###### 1882—1948

Не сомневайся, сердце, не грусти!

Уж нет твоих надежд; они отсюда

Ушли, теперь тебе пора идти!

В кадре снова двое влюбленных.

— Должно быть, он был очень печальным человеком, — говорит Лула.

— Может, не таким уж печальным, как ты думаешь, — отвечает доктор Пул, снимая тяжелую укладку и садясь на землю рядом с могилой.

Пока Лула достает из сумки хлеб, овощи, яйца и полоски вяленого мяса, доктор Пул листает томик Шелли.

— Вот, нашел, — наконец говорит он. — Эта строфа идет после той, что выбита здесь.

Краса, все приводящая в движенье,

Свет, чья улыбка вечно молода,

И милость, что проклятию рожденья

Не уничтожить, — ты, любовь, тверда,

Сквозь жизни ткань, что долгие года

Ткут человек и зверь, земля и море,

Горишь светло иль тускло, но всегда

Желанно — ты, со смертной тучей споря,

Ее развеешь надо мной в просторе.

Наступает молчание. Лула протягивает доктору Пулу крутое яйцо. Он разбивает его о надгробие, принимается чистить и бросает белые кусочки скорлупы на могилу.

1. Иначе я не могу *(нем.). — Здесь и далее примеч. пер.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Павиан *(лат.).* [↑](#footnote-ref-2)
3. Крошка Морфиль *(фр.).* [↑](#footnote-ref-3)
4. Я... шоколад, ты... любовь *(нем.).* [↑](#footnote-ref-4)
5. Глубокое *(нем.).* [↑](#footnote-ref-5)
6. Влюбленных до истерики Мужчин намучив всласть, Красотка из Америки На Корфу собралась *(фр.).* [↑](#footnote-ref-6)
7. Бациллы сапа *(лат.).* [↑](#footnote-ref-7)
8. Все *(лат.).* [↑](#footnote-ref-8)
9. Во имя Бабуина *(лат.).* [↑](#footnote-ref-9)
10. Человеческий голос *(лат.).* [↑](#footnote-ref-10)
11. Юкка глориоза *(лат.)* — древовидное растение семейства агавовых. [↑](#footnote-ref-11)
12. Трехзубчатая полынь *(лат.).* [↑](#footnote-ref-12)
13. Латинское название вида кактуса. [↑](#footnote-ref-13)
14. Современных удобств *(фр.).* [↑](#footnote-ref-14)
15. В естественном виде *(фр.).* [↑](#footnote-ref-15)
16. Смерть от любви *(нем.).* [↑](#footnote-ref-16)
17. Оплошность *(фр.).* [↑](#footnote-ref-17)
18. «Бессмертная женщина всегда нас возвышает. Бессмертная женщина всегда...» *(фр.).* [↑](#footnote-ref-18)
19. «Ночь свадебной была, торжественной, священной...» *(фр.)* [↑](#footnote-ref-19)
20. Глас пролетариата — глас дьявола *(лат.).* [↑](#footnote-ref-20)
21. Глас дьявола — глас церкви *(лат.).* [↑](#footnote-ref-21)
22. Латинские названия возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. [↑](#footnote-ref-22)
23. Очень тихо... тихо... довольно громко *(ит.).* [↑](#footnote-ref-23)
24. «Слава тебе, пресвятое тело» *(лат.)* [↑](#footnote-ref-24)
25. «Дон Жуан» *(ит.).* [↑](#footnote-ref-25)